3-88
ГД
749

МИХ. ЗОЩЕНКО
П. ЕВСТАФЬЕВ
В. БОЦЯНОВСКИЙ

# ТАРАС ШЕВЧЕНКО

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Київська Обласна Бібліотека
для дітей та юнацтва
3-88

МИХ. ЗОЩЕНКО
П. ЕВСТАФЬЕВ
В. БОЦЯНОВСКИЙ

# ТАРАС ШЕВЧЕНКО

3-88

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

Державна історична
БІБЛІОТЕКА УРСР
1964

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАД
1939

Київська Обласна Бібліотека
для дітей та юнацтва
ім. 25-річчя ВЛКСМ

*Мих. Зощенко*

# ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Тяжко с матерью прощаться
У бескрышной хаты,
Еще горше в мире видеть
Слезы да заплаты.

*Т. Шевченко.*

## 1. НАРОДНЫЙ ПОЭТ

Современники назвали Шевченко «мужичьим поэтом». И это было именно так.

Шевченко был доподлинно мужицкий поэт.

Любители изящной словесности, называя так поэта, конечно, не собирались делать ему комплимент. Напротив, в это слово «мужичий» вкладывались насмешка и брань.

Многие критики того времени считали, что поэзия должна воспитывать в народе изящные и нежные чувства, должна прививать эстетические взгляды на жизнь, поднимать народ до себя, очищать и облагораживать простонародную речь.

А у Шевченко встречались такие ужасные и несалонные слова: пузо, брюхо и так далее.

Это шокировало критику в высшей степени. Кроме того поэзия Шевченко казалась слишком уж прямолинейной, — поэт призывал закрепощенных крестьян к восстанию, к борьбе против помещиков, против царя и церкви.

Это тоже смущало критику. Казалось, что поэзия бралась не за свое дело. И в силу этого большинство критиков того времени не признало Шевченко истинным поэтом.

Даже Белинский — его брат по духу — едко и зло посмеялся над ним.

Но это была ошибка до некоторой степени понятная. Слишком уж нова и непривычна была такого рода мужицкая поэзия.

Шевченко не был сразу оценен критикой, но зато он был тотчас оценен народом.

Первая его книга «Кобзарь» произвела на читателей неслыханное впечатление. Его книга, попавшая на родину, была подобна разорвавшейся бомбе — так это было сильно, оглушительно, необычайно и действенно.

Мужицкий поэт сразу пришелся по вкусу народу, потому что он и был подлинный поэт народа, подлинный его представитель. Он не искажал народные думы и чувства своими субъективными добавлениями. Вернее — его чувства совпадали с чувствами народа.

Тут не было фальсификации ни на один грамм, как это невольно могло быть у поэта, вышедшего из другой среды.

Критик Добролюбов, один из немногих критиков, своим блестящим умом понял Шевченко. Он писал о нем:

«Тарас Шевченко — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя».

Добролюбов был прав. До Шевченко не было у нас поэта более народного, более понятного массам.

Шевченко стал выразителем духовной жизни народа. Но его поэзия не была только украинской поэзией. И не потому, что темы Шевченко не ограничивались пределами Украины, а потому, что его тема была близкой и необходимой темой для многих народов. Безжалостная эксплоатация человека, бесправие, насилие и гнет не являлись печальным достоянием одного украинского народа.

Но Шевченко не был только выразителем народных дум и надежд. Он как бы сосредоточил в себе духовные качества украинского народа — его мощь, силу, светлый ум, его доброе сердце, мужество, энергию, волю и настойчивость.

Всей своей жизнью, всей своей поэзией Шевченко показал, как может быть силен и мужествен человек, как он может быть неподкупен, как велика его честность, как страшен его гнев и как непреклонна его воля к свободе и независимости.

Всей своей жизнью и работой он показал, какие чудовищные преграды может преодолеть человек для достижения своей цели.

Жизнь Шевченко — это повесть о том, что такое искус-

ство, как оно велико, какие препятствия оно может преодолеть и какой страх оно может внушить врагам.

Казалось бы, что все было брошено на то, чтобы Шевченко не был поэтом и художником. Сначала нищета, рабство, воля помещика мешали достичь цели. Затем, когда все это было преодолено, само государство преградило дорогу поэту.

Он был физически изломан тюрьмой и ссылкой, но свое искусство он пронес до конца своей жизни. Он до конца дней оставался все тем же, каким он был, — непримиримым и смелым.

И это так удивительно, что я затрудняюсь сказать, что выше можно оценить — его ли поэтический гений или его замечательное мужество.

## 2. ДЕТСКИЕ ГОДЫ

Бедная украинская хата с почерневшей соломенной крышей — вот дом, в котором провел детские годы Тарас Шевченко.

Отец Тараса, Григорий Иванович Шевченко, был крепостной крестьянин. Он жил в крайней бедности. У него была многочисленная семья — шесть душ детей.

Его жена целые дни работала в поле на барщине. Он также работал в поле, но кроме того возил в город барский хлеб на продажу и доставлял из Крыма соль и рыбу. Помимо этого он должен был заботиться о своем поле и о своем хозяйстве.

Его бедность, нищета не были чем-то исключительным. Это была обычная жизнь крепостного крестьянина, который с утра до ночи не покладая рук работал и за это едва был сыт и едва одет.

Немыслимо было подумать о более сносной жизни, потому что крепостной крестьянин был жестоко закабален.

Три дня в неделю крестьянин работал на барина. Но кроме личного труда, он отдавал барину «пятину», то есть пятую часть всего того, что он получал от своего личного хозяйства. И помимо того он платил денежную подать за ту землю, которую он обрабатывал для себя.

И в силу этого крестьянин не выходил из долгов. Он всегда был должен своему помещику. И в счет долга он работал на барина уже не три дня, а иной раз четыре и пять дней с утра и до ночи.

При таких условиях крестьянин, конечно, не мог выйти из нищеты. И, работая на барина, он нередко голодал.

Как сказал Шевченко:

А вот там под тыном
С голоду ребенок пухнет — он умрет,
А на барском поле мать пшеницу жнет...

И это не было художественным преувеличением. Рядом с нищетой и голодом уживалась роскошь барских хором. Там, в панских палатах, происходили балы, зацветали тонкие чувства, зажигались беседы об искусстве и красоте.

Это была смрадная картина вопиющей несправедливости, картина жесточайшего насилия.

Барин имел неограниченные права на своих крестьян. Он мог продавать своих рабов оптом и в розницу. Отцов отнимали от семьи и продавали на сторону, матерей продавали отдельно от детей и детей отдельно от родителей. [1]

Это было волчье время, лишенное какой бы то ни было гуманности. Это были наихудшие страницы истории, отчасти даже искажающие привычный человеческий облик.

Вот в какие годы жил Тарас Шевченко.

Он родился в 1814 году в Киевской губернии.

До восьми лет он был, так сказать, на попеченьи у самой природы. Оборванный и грязный, он бегал с утра до ночи где ему вздумается. Никто, конечно, не смотрел за ним. Отец и мать были задавлены барщиной. Старшая сестренка Катя, помимо Тараса, имела на руках еще крошечных братьев и сестер.

На девятом году отец решил обучить Тараса грамоте. Сам отец Тараса был грамотный и умный человек. Он понял, что Тарас мальчик смышленый и какой-то особенный. И из всех своих детей он выделил на учебу только его.

Он послал Тараса в церковно-приходскую школу, где учительствовал в то время некий Губский, священник, лишенный прихода, человек грубый и часто нетрезвый.

---

[1] Продажа крестьян «в розницу» существовала до 1841 года. Писатель Григорович приводит в своих воспоминаниях сценку, какой он был свидетелем. «Некий помещик Коротков говорит своему управляющему: «Жена собирается в Москву... Нужны деньги... Проезжая давеча по деревням, я видел много там этой мелкоты и шушеры накопилось. Пойди распорядись...» Это означало (пишет Григорович), что управляющему поручалось забрать и продать лишних детей и девок».

За каждую провинность учитель нещадно бил учеников розгами и «тройчаткой» — плетью из подошвенного ремня.

Но Губского вскоре сместили и на его место прислали еще более удивительного учителя — дьячка Петра Богорского.

Этот дьячок был горький пьяница. Он учился в духовной семинарии, но, дойдя до класса риторики, как говорится, «убоялся бездны премудрости» и на двадцать девятом году жизни вышел в свет олухом и пьяницей.

Тем не менее он почему-то решил поделиться с людьми своими знаниями и стал учительствовать в школе.

Неудовлетворенность своей жизнью он скрашивал вином. И если первый учитель, Губский, выпивал, то этот вообще редко когда бывал трезвым.

«Березовую кашу» он считал основой науки и даже ее единственным двигателем. Он лупцовал учеников за каждую малейшую ошибку и провинность. Пучки розог красовались в классе как неотъемлемая принадлежность уроков.

Помимо того каждую субботу дьячок Богорский порол уже всех учеников — правых и виноватых без разбору, говоря, что это для всех исключительно полезно и необходимо. Должно быть учитель считал, что его самого мало пороли в семинарии, и вот почему он пьяница и неудачник.

Этот учитель, по словам Шевченко, был жестокий, бессердечный и грубый человек. Но он порол учеников не только потому, что он был жестокий. Он порол потому, что так полагалось. В то время порка процветала во всех учебных заведениях. [1]

Но дьякон Богорский внес в это дело нечто новое. Во время порки он заставлял учеников читать заповеди блаженства. Причем сам он порол редко, а заставлял учеников пороть своих же товарищей.

Тарас весьма скоро выучился грамоте и на второй год уже свободно читал псалтырь.

Когда Тарасу исполнилось девять лет, умерла его мать. Она умерла на тридцать втором году жизни, как сказано в казенных бумагах, «от натуральной болезни».

Положение Григория Ивановича Шевченко стало ужасным — с пятью малышами он остался один. Старшая его дочка перед этим была выдана замуж в другую деревню.

---

[1] Интересно отметить, что сам Николай I в своих «Записках» писал о своей учебе: «Граф Ламсдорф нередко меня наказывал тростником весьма больно среди самих уроков».

В доме необходимо было иметь хозяйку, и Григорий Иванович женился на вдове, у которой было трое маленьких ребят.

Мачеха оказалась на редкость суровой и сварливой.

В доме начался ад. Сведенные дети непрестанно дрались и даже устраивали между собой целые бои.

Ребятам мачехи изрядно доставалось, потому что их было меньше. И в дело нередко вступалась мать. Она драла за уши своих насыпков. И особенно от нее доставалось Тарасу, которого она ненавидела, потому что Тарас нещадно лупцовал ее любимого худосочного сынишку Степку.

Отец постоянно ссорился со своей новой женой.

Крики, брань, слезы и огорчения — вот что было в доме после смерти матери.

Через два года, когда Тарасу исполнилось одиннадцать лет, неожиданно умер его отец.

Он простудился в пути, когда вез в Киев барские продукты, и, вернувшись домой, умер, проболев несколько дней.

Перед смертью отец разделил свой жалкий скарб между своими детьми, но Тарасу он ничего не выделил. Он сказал:

«Тарасу из моего хозяйства ничего не нужно. Он не будет человек какой-нибудь. Из него выйдет что-нибудь хорошее, или же это будет негодный человек. Для него мое хозяйство или ничего не составит, или это ему ничего не поможет».

Тарас остался круглым сиротой.

Он нанялся пастухом. И летом пас общественный скот кирилловских крестьян.

А к зиме мачеха велела Тарасу куда-нибудь наняться на работу для того, чтобы у нее оставалось поменьше голодных ртов.

Дьячок Богорский согласился держать Тараса в качестве ученика и домашнего работника.

Теперь все работы по дому дьячка выполнял Тарас. Он носил воду, рубил и возил дрова, топил печи и делал все то, что полагалось делать в крестьянском хозяйстве.

Но дьячок считал, что Тарас его даром объедает, и поэтому заставлял его еще читать псалтырь над покойниками.

Кирилловским крестьянам нравилось, как читает Тарас. Он читал выразительно и с чувством. И по этой причине Тараса требовали всякий раз, когда кто-нибудь умирал.

Крестьяне платили за это Тарасу деньги, но Богорский эти деньги брал себе, считая, что он и без того благодетельствует Тарасу.

Тарас попрежнему бегал в рваной свитке, без сапог и без шапки. И попрежнему дьячок бил и порол его и нередко морил голодом. Жизнь маленького Тараса у Богорского стала еще более несчастной, чем раньше.

Впоследствии, вспомнив о своем детстве, Шевченко с большой горечью так сказал в одном из своих стихотворений:

. . .Как увижу
В деревне маленького мальчика:
Ну как будто оторвался он от ветки,
Один-одинешенек, в тряпье,
Сидит себе под забором,
Так кажется мне, что это я,
Что это и есть моя молодость.

## 3. ПОИСКИ ИСКУССТВА

С раннего детства Шевченко имел страсть к рисованию. Всюду, где придется, он чертил углем всякие завитушки и каракульки. На обрывках бумаги он рисовал коров и лошадей. Ножницами он вырезал из бумаги цветы, силуэты людей и животных и наклеивал на окна своего дома. Все это доставляло ему удивительную радость.

Впоследствии, в одном из своих стихотворений, написанном в ссылке, Шевченко вспоминает, какое необычайное чувство он испытывал от своего рисования:

. . .Еще в школе
У учителя-дьячка
Украду, бывало, пятачок,
Куплю бумаги, тетрадку сделаю,
Крестами и виньетками
Листочки обведу
И рисую «Сковороду» [1]
Или «трех царей с дарами»,
А потом в бурьяне,
Чтоб никто не увидел, не услышал,
Пою один и плачу. . .

Такое волнение, радость и слезы Шевченко не раз испытывал от своего искусства. Это было творческое волнение, радость художника. И вместе с тем страх, что за это могут его наказать, могут ему не позволить, потому что это было занятие для барчуков, а не для оборванного деревенского мальчишки.

---

[1] Сковорода — украинский философ XVIII столетия.

Не менее радостное волнение Шевченко испытывал, когда слушал слепцов-кобзарей. Их песни и музыка не раз вызывали у Шевченко слезы. И он не раз ходил вслед за слепцами из деревни в деревню.

Это было удивительно смотреть, когда на село приходил слепец-кобзарь. Он усаживался у ворот какой-нибудь хаты и пел народные думы, песни и сказания, аккомпанируя на бандуре, или на «рыле» (лире), или на старинной семнадцатиструнной кобзе. [1] На свои пальцы слепец надевал железные наперстки с деревянными косточками, и от этого струны звучали оглушительно и вместе с тем жалобно.

Такие слепцы-бандуристы, кобзари и «рыльники» нередко проходили по украинским деревням.

Но их искусство для мальчика казалось слишком уж непонятным и сложным. Рисовать было более доступно его воображению.

Но он не знал и не понимал, как этому искусству надо учиться и что для этого надо сделать.

Иной раз в гости к дьячку Богорскому приходили попить и повеселиться дьячки из соседних сел. Среди них были дьячки-маляры, иконописцы и рисовальщики.

И Шевченко, которому шел тогда тринадцатый год, решил уйти от Богорского и поступить на работу к какому-нибудь из этих дьячков, с тем, чтобы тот научил его малярному мастерству.

И вот, весной 1826 года Тарас собрал свое барахлишко, захватил у дьякона книжку с картинками и сбежал от него.

В своих автобиографических заметках Шевченко писал, что перед тем, как уйти от своего дьячка, он жестоко отомстил ему. Он нашел своего дьячка в саду бесчувственно пьяным, связал его ноги и руки и, задрав рясу, «всыпал ему великую дозу березовой каши».

Расправившись со своим наставником и благодетелем, Тарас ушел и несколько дней скрывался в чужом саду. Сестры приносили ему еду и сообщали о всех новостях. Тарас ожидал, что дьячок поднимет тревогу и постарается его найти, чтобы прежестоко наказать. Но этого не случилось. Вероятно, Богорскому совестно было признаться, что его высекли, и поэтому он не поднял никакого дела.

И тогда Тарас бежал в село Лысянку, где, как он знал, проживал дьякон — малярный мастер.

---

[1] Четыре струны и тринадцать подструнков.

Тарас явился к нему и попросил взять его в ученики.

Дьякон-маляр охотно согласился. Как раз в то время у него не было домашнего работника. И это предложение его устраивало.

Однако надежды Тараса не оправдались. Дьякон был простой маляр. Он красил крыши, полы и изгороди. Но и в это свое мастерство он не посвятил Тараса. Напротив, он тотчас приспособил мальчика к домашним работам. И ни о какой учебе помину не было.

Новый хозяин заставлял Тараса таскать воду, ходить за коровой и исполнять всякие мелкие поручения по хозяйству.

И эта работа показалась Тарасу еще более трудной, чем у кирилловского дьячка, так как новый хозяин жил на высокой горе и носить воду из реки Тикач было нелегко.

Кроме домашних работ, Тарас растирал краску-медянку на железном листе. Последнее дело было уже более близко к искусству, но все же это не доставило мальчику никакой радости.

К тому же новый дьякон из Лысянки оказался такой же рукосуй, как и Богорский. Он — чуть что — рвал за уши и обещал в дальнейшем нещадно пороть за каждое упущение. Тарас пробыл у него несколько дней и, так сказать, не попрощавшись, ушел от своего неприветливого хозяина.

Тарас сначала ушел в город Стеблов, где он надеялся найти более выдающегося мастера.

Там он не сумел устроиться, но там ему сказали, что в селе Тарасовке проживает дьякон-живописец, в некотором роде знаменитый художник, работы которого — «Аника-воин» и «Великомученик Николай» — красуются в сельском храме.

Не без трепета явился к нему Тарас.

Дьякон-живописец в принципе согласился принять Тараса в ученики. Однако он сказал ему:

«Каждый начнет учиться живописи, — это что и будет. Живописи может учиться только тот, у кого имеется божественная одаренность. А если у тебя этого нету, то я тебя в ученики не возьму, хотя бы ты мне обещал золотые горы».

И дьякон велел Тарасу показать левую руку. Внимательно осмотрев его левую ладонь, дьякон сказал:

«Согласно науке хиромантии дарование к живописи отмечается на левой руке жирной чертой, идущей от безымянного пальца вдоль всей ладони. У тебя же этой черты вовсе нету, и по твоей руке я могу судить, что у тебя полностью отсутствует дарование к живописи, к сапожному делу и даже к бондарству. И даже я удивляюсь, что ты осмелился ко мне

притти. Я не намерен с тобой больше беседовать. Иди себе с богом и больше сюда не приходи».

Слова дьякона-хиромантика ошеломили Тараса. Огорченный, он ушел от предсказателя. [1]

Он вернулся в родное село, в родной дом к своей мачехе. Он сказал мачехе, что решил сделаться пастухом, что вот работа, которая ему нравится.

И Тарас нанялся в пастухи и до осени пас коров и овец.

Но он не был способным пастухом. Он часто задумывался, мечтал и невнимательно относился к стаду, которое разбредалось по сторонам. Коровы и овцы нередко пропадали. И крестьяне были недовольны своим пастушком.

Брат Тараса, Никита, советовал ему заняться земледелием. Но эта работа меньше всего прельщала Тараса.

И тогда он снова бросил отцовский дом.

Он поступил в батраки к священнику Григорию Кошицу.

Это был толстый и до некоторой степени добродушный поп. Он не бил Тараса и даже позволял ему читать книги. Но Тарас все же недолго оставался у него. Горячее желание быть маляром или живописцем не остыло в нем. Предсказание дьякона-хиромантика казалось теперь не таким страшным. Снова Тарас решил испробовать свое счастье.

Он ушел в село Хлебновку, где, как он разузнал, имелись выдающиеся мастера-живописцы.

Один из хлебновских маляров взял Тараса в ученики. Но он взял его на пробу. Он хотел проверить его способности, но не таким дурацким способом, как это сделал дьякон-хиромантик.

Хлебновский маляр оказался дельным и понимающим человеком. Он давал Тарасу задания, заставлял его чертить и рисовать с натуры. И, проверив его способности, сказал:

«Я дал тебе срисовать купол церкви, и ты это сделал так, как сделал бы я. Из чего я могу заключить, что ты будешь славный маляр и у тебя есть исключительное дарование. Оставайся у меня, если хочешь».

Вероятно, это была первая, наиболее сильная радость в жизни Тараса. Слезы хлынули у него из глаз, и он поцеловал руку маляру.

---

[1] Этот, казалось бы, анекдотический случай из жизни Тараса Шевченко был чрезвычайно характерен для того времени. Хиромантия с давних пор считалась весьма серьезной наукой. Достаточно сказать, что во многих странах (например, в Германии) вплоть до XIX столетия в университетах читались лекции по хиромантии.

Маляр сказал:

«Но если ты сын крепостного отца, то принеси мне записку от твоего барина. И пусть в этой записке будет сказано, что он дозволяет тебе заниматься малярным делом. В противном случае я не могу принять тебя в ученики, поскольку закон не позволяет мне держать у себя крепаков».

Тарас сказал, что он сделает это и принесет от помещика записку.

Взволнованный и обрадованный Тарас вернулся в Кирилловку.

## 4. НЕУДАЧА

Отец Тараса был крепостной помещика Энгельгардта.

Сам старик Энгельгардт, Василий Васильевич, был богатейший человек, — у него имелись обширные земли на Украине.

Это был сановитый барин, племянник прославленного князя Потемкина.

Он был уже весьма стар. И жил на покое, вспоминая прошлые дни своей блистательной жизни.

Это и был теперешний хозяин и властелин Тараса.

Вернувшись из села Хлебновки в свою родную Кирилловку, Тарас стал расспрашивать своих односельчан, как он должен поступить для того, чтобы ему дали разрешение на учебу у маляра-живописца.

Что-то новое входило в жизнь четырнадцатилетнего мальчика. Он видел много — видел горе, слезы, лишения и побои. Но ему не приходилось еще выступать в жизни в качестве взрослого человека, который должен был обращаться к помещику с личной своей просьбой.

Впрочем, речь о помещике и не шла. По словам кирилловских крестьян, мальчику следовало обратиться всего лишь к управляющему имением, так как старый барин в такие дела не входит, и это слишком мелкое дело для того, чтобы тревожить покой самого Василия Васильевича.

Однако для Тараса и это дело казалось не таким уж простым и повседневным.

Не без робости отправился он в имение Ольшаны, где находилась контора.

Робость и застенчивость исчезли, когда Тарас заговорил о своем желании учиться малярному делу.

Теперь перед управляющим стоял смышленый и толковый подросток, который весьма деловито и обстоятельно излагал то, что ему нужно.

Эта деловитость и бойкость неожиданно понравились управляющему. Но в этом и таилась беда для Тараса.

Управляющий, еще раз внимательно оглядев Тараса, сказал, что вот как раз такой подросток, как Тарас, ему и нужен. Малярное искусство — это блажь и прихоть, а есть дела поважнее этого. Вот только что из Вильно пришел приказ от молодого барина, Павла Васильевича Энгельгардта — набрать способных и толковых подростков, подучить их и прислать к нему для комнатных услуг, для кухни и для конюшни.

И теперь, глядя на Тараса, управляющий решил в своем уме —в числе прочих набранных подростков послать и Тараса.

Никакие просьбы Тараса делу не помогли.

Управляющий с неудовольствием смотрел на мальчишку, который, кажется, осмеливается высказывать свое мнение и даже, кажется, весьма резко, если не сказать грубо. Еще недоставало, чтоб крепостной паренек выражал свои претензии и изменял намерения управляющего. В таком случае надо будет его хорошенько обтесать, прежде чем послать молодому барину.

Управляющий сказал, что он, пока что, зачисляет Тараса на барскую кухню. Пусть там мальчишка подучится, как надо жить в господском доме. И пусть главный повар решит, есть ли у подростка способности к кухонному делу.

Тарас стоял перед управляющим, с трудом понимая, что происходит.

Он пришел за бумагой, за разрешением поступить в ученики к маляру, и вот теперь, вместо этого, его берут в число господской дворни и посылают на кухню.

Это был ужасный удар, даже катастрофа.

Первая мысль Тараса была бежать. Но он знал, что за это бывает. Он знал, что бежавших порют и посылают в тюрьму и в солдаты.

Кажется, впервые Тарас почувствовал свою неволю, свое рабство, свою беспомощность.

Управляющий не нашел нужным слишком долго беседовать с подростком. Он позвал главного повара и велел ему принять Тараса в качестве ученика, с тем, чтобы хорошенько обтесать мальчишку и сделать из него человека, полезного для господского дома.

Тараса приодели, подстригли его волосы и приказали ему ходить бесшумной и приличной походкой без подскакивания и без размахивания руками. Громкие возгласы, крик, стук посудой или смех — все это было недозволено и считалось неприличным в господском доме.

Главный повар Павел, толстый и староватый человек, энергично приступил к воспитанию подростка.

Целые дни теперь Тарас проводил на кухне. Он мыл посуду, выносил помои, выгребал золу, чистил картошку и выполнял всякие мелкие поручения повара.

Все это было до крайности скучным и однообразным. Все валилось из рук Тараса. Его охватывала невыносимая тоска, когда он думал, что это будет и впредь так продолжаться.

Повар был сердитый и раздражительный. Шекспир говорил, что не надо бояться толстых людей. Но этот повар составлял, видимо, исключение. Он драл Тараса за уши и награждал его затрещинами. Его раздражал нерадивый ученик, который то и дело давал стрекача, убегая то в сад, то в поле.

Была весна. Зеленели поля. Позвякивая колокольчиками, шли коровы. Пастушок хлопал длинным бичом.

Как много дал бы теперь Тарас, чтобы снова быть таким пастухом, чтобы снова шляться по полям, чтоб не слышать рассудительных речей на кухне и сердитых окриков повара.

Правда, жизнь Тараса немного скрашивалась тем, что он сумел тут набрать всякого рода картинок и карточек. У него собралась теперь целая коллекция лубочных рисунков. И это доставляло ему радость и удовольствие.

Воспользовавшись свободной минутой, он убегал в глухой уголок господского сада и там, на сучках деревьев, устраивал выставку, вывешивая свои рисунки и карточки.

Повар пожаловался на Тараса. Он сказал управляющему, что присланный на кухню мальчишка есть в высшей степени лодырь и бездельник, что вряд ли вообще имеется какое-либо дело, к которому подросток будет способным, и что на кухне он не только не нужен, но даже он там является помехой и главной причиной ухудшения здоровья повара.

Неизвестно, как сложилось бы дело, если б молодой барин не запросил в срочном порядке прислать нужных ему подростков.

Молодой барин проживал в Вильно. Для дворянской его жизни ему требовалась вышколенная дворня — расторопные лакеи, казачки для комнатных услуг, красивые горнич-

ные и лихие кучера. Вышколить такую дворню можно лишь в городе. И вот почему подростков надлежало отправить в Вильно.

Управляющий Дмитренко спешным порядком собрал молодую гвардию и со списком отправил ее в Вильно.

В этом списке числился и Тарас, против фамилии которого стояло примечание: «Способен к малярству».

Подействовали слова повара на Дмитренко, или сам Тарас просил управляющего и этим смягчил его сердце — остается неизвестным. Известно только то, что Тарас отправлен был в Вильно не в качестве поваренка, а в качестве будущего маляра или живописца.

## 5. СНОВА НЕУДАЧИ

Молодой барин Павел Васильевич был (незаконный) сын престарелого помещика Энгельгардта.

Он состоял адъютантом у фельдмаршала Римского-Корсакова, который был в то время виленским губернатором.

В свои тридцать лет он был уже полковником лейб-гвардии Уланского полка.

Его блистательная карьера была создана меньше всего его способностями. Он преуспевал в жизни благодаря своему родству, фамилии и богатству. Весьма энергичный и властный человек, карьерист и коммерсант, он уверенно шагал по дороге жизни.

Это и был новый неограниченный властитель, к которому направлялся подросток Тарас Шевченко, «способный к малярству».

Многочисленная дворня молодого полковника ютилась во дворе, в хибарках, позади роскошного дворянского особняка.

Всей дворней командовал управляющий делами — домоправитель полковника — человек весьма энергичный, распорядительный, рабски преданный своему господину.

Приняв список и осмотрев прибывших, он тотчас распределил обязанности каждого. Тараса он назначил комнатным «казачком». На отметку в списке управляющий просто не обратил внимания. Ни о каком, конечно, возражении не могло быть и речи.

Несколько дней Тараса приводили в «христианский вид». Его одели в синюю поддевку с красным поясом. И обучили

несложным его обязанностям. Тарас должен был сидеть в передней на диване. По первому зову барина ему следовало беспумно войти в комнату и ждать приказаний.

Приказания были немногочисленные — главным образом, подать халат, туфли или трубку. Остальные обязанности также были несложны — доложить о пришедших, принять сброшенную с плеч барина офицерскую шинель и так далее. Впрочем, главнейшая обязанность была самая нелегкая, это — безмолвно сидеть на диване.

На вопросы Тарасу надлежало отвечать отрывисто и кратко: так точно-с, никак нет-с и не могу знать. Все остальные слова запрещались или не рекомендовались.

Итак, у Тараса началась новая жизнь — комнатного «казачка».

Для подвижного характера Тараса такая должность была мучительной. Но барин, к счастью, редко сидел дома. Балы, вечера и банкеты бывали чуть не ежедневно. И Тарас, оставаясь один, мог заниматься чем ему вздумается.

Новый казачок не то чтобы понравился молодому полковнику, скорее, он даже и не замечал его, — для него это был, в сущности, не человек, не живая душа, а попросту — предмет комнатного обихода, к которому можно привыкнуть или, наоборот, выкинуть его, если он не пригоден.

Так вот, к этой вещи, к этому предмету комнатных услуг полковник привык. И был к нему до некоторой степени милостив, он позволял крепостному казачку прикасаться губами к своей выхоленной руке благодетеля, как это требовалось по неписанным законам крепостного права.

Натура полковника была весьма деятельной. Он нередко уезжал в Варшаву или в Петербург или на дворянские выборы в Киев. В свои путешествия он стал брать Тараса. И это внесло разнообразие в жизнь казачка.

Но Тарасу наибольше всего нравилось, когда он оставался один, когда барин уезжал на балы или в гости. Тогда Тарас со спокойной душой шлялся по барским комнатам, свистел, пел украинские песни и занимался рисованием, к чему он не остыл, а напротив того, с каждым днем чувствовал все большую склонность.

«Коллекция картин» Тараса возросла. Теперь в его коллекции появились всякого рода открытки и лубочные рисунки, которые Тарас, не стесняясь, брал на постоялых дворах и где придется.

В отсутствии барина Тарас располагался за его столом



Державна історична БІБЛІОТЕКА УРСР

и срисовывал в свой альбом картины и рисунки, висящие на стенах комнаты.

Однажды барин, вернувшись в полночь из гостей, застал Тараса на месте преступления. Тарас, увлекшись рисованием, не услышал, как подкатила коляска к дому, как барин хлопнул дверью, как он поднялся по лестнице во второй этаж и как он вошел в комнату.

Тарас, расположившись в кресле, растушевывал свою копию с картины «Атаман Платов».

Скрип половицы вернул художника к действительности, Тарас вскочил с кресла. Перед ним, в двух шагах, стоял полковник, разгневанный и взбешенный.

Огарок сальной свечки освещал эту сцену.

От гнева и раздражения полковник сначала остолбенел. Мало того, что этот скот не встретил его в передней, он еще посмел сидеть за его столом, он посмел жечь свечку, от которой мог сгореть его дом.

Полковник несколько раз ударил Тараса по лицу и, схватив за ухо, выкинул казачка в переднюю.

Утром полковник не остыл от своего гнева. Он отдал управляющему распоряжение — выдрать Тараса на конюшне, чтоб этому пареньку хорошенько запомнилось, кто он такой и каковы его прямые обязанности.

Тотчас Тараса отвели на конюшню. Три кучера совершали экзекуцию. Один сидел на ногах Тараса, другой — на плечах, третий кучер стегал розгами.

Тарас выдержал наказание без слез и без стонов, хотя кровь текла по его обнаженному телу.

Это считалось — поучить человека, чтоб он не увлекался несбыточными фантазиями.

Тарас ожидал перемены судьбы. Он ожидал, что барин отошлет его в деревню или переведет на другую должность. Но этого не случилось. Через несколько дней Тарас снова занял место в передней. И барин, как ни в чем не бывало, звал Тараса для услуг.

## 6. ИСКУССТВО И КОММЕРЦИЯ

Однако управляющему полковник сказал, показав на рисунки Тараса, что мальчишку, пожалуй, надо было бы отдать в науку к живописцу, что, судя по рисункам, он выказывает большие способности и что не следовало бы забывать.

что цена крепостного совершенно иная, если он в чем-либо достиг какого-нибудь совершенства. Сейчас Тарас стоит от силы, ну, рублей триста, а если его обучить, то он будет стоить не менее тысячи, а то и больше. Надо уметь поднимать цену на каждую крепостную душу тем хозяйственным способом, который в их распоряжении. В наш коммерческий век это совершенно необходимо. Это своего рода биржа. Этим надо пользоваться. И этим можно умножить состояние.

Управляющий почтительно кланялся, слушая эти слова барина.

Полковник сказал, что он, пожалуй, сам поговорит с одним художником, и если тот найдет у Тараса способности, то судьба Тараса решена — он будет учиться живописи.

Коммерческий зуд заставил полковника поспешить с этим делом. Он побывал у профессора живописи, который преподавал в Виленском университете. И показал ему рисунки крепостного казачка.

Профессор живописи одобрительно отнесся к рисункам Тараса и посоветовал отдать мальчика в ученье.

Полковник велел своему управляющему подыскать для Тараса учителя.

Однако фантазия управляющего дальше малярного дела не пошла, и он, договорившись с одним маляром, отдал Тараса в учебу.

Но спустя месяц маляр явился к самому полковнику и доложил, что с таким отличным учеником он, простой маляр, не считает возможным заниматься, что этот ученик может быть его учителем, а не наоборот. И пусть он, маляр, теряет на этом деньги за уроки, но он считает своей обязанностью доложить барину о великих способностях Тараса.

Слова честного маляра нашли живейший отклик в коммерческой душе полковника. В самом деле — надо будет отдать Тараса к какому-нибудь хорошему живописцу. И если Тарас будет художником, то плата за учебу будет с лихвой оправдана.

Полковник вызвал к себе одного знакомого портретиста. И тот согласился давать уроки.

Но, едва начатые, уроки вскоре были прекращены. Польское восстание (1830 год) заставило полковника убраться из Вильно.

Отъезд полковника был так стремителен, что он не захватил даже с собой дворни. Даже Тарас, с которым он не расставался в путешествиях, был оставлен в Вильно.

Полковник прибыл в Петербург и уже оттуда отдал распоряжение выслать ему его челядь этапным порядком.

В начале 1831 года Тарас вместе со всей дворней был доставлен в Петербург.

Барин, понюхавший пороху в Польше, был не совсем в себе. Надо было снова налаживать связи. Надо было искать достойную должность для его высокой особы. Такую должность он нашел — он стал адъютантом у принца Виртенберг-ского.

Тарас же снова остался у него казачком.

Но теперь, всякий раз, когда барин, довольный своими делами, милостиво заговаривал с казачком, Тарас неизменно сводил речь на учебу. Больше ждать было нельзя. Ему восемнадцать лет. И дальше откладывать, — будет поздно.

Барин снова согласился отдать Тараса к живописцу. Но снова управляющий отдал Тараса не к художнику, а к простому маляру.

Правда, этот маляр считался опытным мастером, однако для Тараса, который брал уроки у портретиста, это была не наука. Но маляр брал за учебу немного, художник же заломил бы цену значительную, — видимо, это обстоятельство сыграло решающую роль. Тем более, что Тарас и без того прилично писал портреты, так зачем же еще переплачивать деньги за какое-то совершенствование, которого может и не быть.

В общем, Тараса отдали в учебу к «разных живописных дел цеховому мастеру Ширяеву».

Причем с этим цеховым мастером был заключен договор на четыре года учебы.

Маляр Ширяев был человек крайне скупой, свирепый, грубый и неотесанный. Он в «страхе божьем» держал своих учеников, которых у него было до десяти человек. Он посылал их на работы в качестве обыкновенных маляров. Его ученики занимались, главным образом, тем, что красили крыши, заборы и полы.

В общем, Ширяев ни в какой степени не был желанным или даже каким-нибудь учителем для Тараса. Это был попросту кулак, предприниматель, эксплоатирующий «подручных молодцов».

Он заставлял их работать по двенадцать и по шестнадцать часов в сутки. Держал их впроголодь и, при случае, дрался, давая пинки, зуботычины и оплеухи.

Снова Тарас стал ходить грязный и оборванный. Он бе-

гал на работу босой, в халате, без шапки. Снова жизнь была полна лишений, огорчений и невзгод.

Но Шевченко не упал духом. И он не оставил своей мысли стать художником. Пользуясь свободной минутой, он рисовал. Но для этого занятия ему надо было теперь выкраивать время. Занятый с утра до вечера, он мог рисовать только лишь на рассвете или поздно вечером.

В светлые петербургские ночи он, возвращаясь с работы, не раз заходил в Летний сад и там делал рисунки и наброски в своей тетради.

Никто не мешал ему здесь. Летний сад открыт был круглые сутки. Ночной публики было мало. Гуляки шли в трактиры и рестораций. Любовные парочки сами избегали встреч. И Тарас, оставаясь в одиночестве, делал зарисовки мраморных богинь и купидонов.

Тарас достиг в своем искусстве больших успехов. Его рисунки уже не были дилетантскими и ученическими. Это уже были смелые произведения, самостоятельные и оригинальные.

Эти часы, проведенные в Летнем саду, были для Тараса всегда вдохновенными. Тарас стал даже писать там стихи. Но он еще не знал, как это делается. И он, без всякого уменья, записывал на бумагу свои чувства и свои мысли и ту музыку, какая у него была на душе.

## 7. ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Более трех лет Шевченко провел в «учениках» у маляра Ширяева.

Это были тягостные годы. О каком-нибудь серьезном учении не могло быть и речи. Шевченко попросту попал к предприимчивому мастеру, который за кусок хлеба заставлял учеников работать на себя.

Но Шевченко не падал духом. С удивительным упорством и настойчивостью он продолжал заниматься своим рисованием.

Однажды, поздно вечером возвращаясь с работы, двадцатидвухлетний Шевченко зашел, по обыкновению, в Летний сад.

Шевченко был босой, без шапки, в коричневом халате. В руках у него были малярная кисть и ведро от краски.

Шевченко прошел по аллеям сада, разглядывая мраморные статуи.

Перед одной из статуй Шевченко задержался. Он сел на свое перевернутое ведро и стал срисовывать в свою тетрадь контуры мраморной богини.

Был поздний майский вечер. Белая петербургская ночь не мешала работать.

Один из прохожих остановился позади Шевченко и с любопытством стал смотреть на его работу.

Рисунок выходил отлично. Это было удивительно смотреть на оборванного паренька, который так искусно и так уверенно рисовал.

Прохожий разговорился с Шевченко. Он оказался земляком Тараса. Это был молодой художник Сошенко. Он недавно приехал в Петербург для занятий в Академии художеств.

Сошенко с любопытством стал расспрашивать Тараса об его жизни. Он похвалил его рисунки. И сказал, что ему надо учиться и что, сколько он понимает, из него выйдет большой толк.

Сошенко дал Тарасу свой адрес и просил его зайти в воскресенье.

Шевченко был взволнован встречей. Он бормотал слова благодарности. Он так мало видел внимания к себе. Он не привык к участию или даже к какому-нибудь человеческому отношению.

И теперь он с чувством признательности смотрел на незнакомого художника, который обещал сделать для него все, что будет возможно.

В воскресенье Шевченко пришел к художнику на Четвертую линию Васильевского острова.

Тарас принес с собой связку своих рисунков.

Художник Сошенко стал внимательно рассматривать рисунки, хваля их и удивляясь необыкновенному мастерству маляра.

Сошенко не мог оказать Тарасу немедленную помощь. Он и сам ничего не имел. Он без копейки денег приехал в Петербург и только что устроился. Но ему чрезвычайно хотелось сделать для Тараса что-нибудь полезное.

Он решил показать рисунки в Академии и решил познакомить Тараса с теми людьми, которые могли бы оказать влияние на судьбу бедного маляра.

Через некоторое время Сошенко познакомил Тараса с известным писателем Гребенкой.

Гребенка с большим вниманием и добротой отнесся к своему земляку. Он помог ему приодеться и познакомил его с

видными людьми. В частности, он познакомил его с секретарем Академии В. И. Григоровичем.

Этот секретарь был весьма влиятельный господин, преподававший в Академии «теорию изящного». Он был в приятельских отношениях с художником К. Брюлловым, слава которого в то время была велика и даже ослепительна. Об его картинах писались статьи. Общественное мнение и критика превозносили его до небес. Его последняя картина «Гибель Помпеи» прошумела на выставках Европы.

Брюллов с участием отнесся к Шевченко. Он похвалил его рисунки и познакомил его с придворным живописцем Венециановым.

И Венецианов, в свою очередь, рассказал поэту Жуковскому о несчастной судьбе талантливого маляра.

И вот, бедным, доселе неведомым, маляром заинтересовались столь влиятельные люди, что, казалось, перемена судьбы для Шевченко уже близка.

Брюллов хотел было зачислить Шевченко в ученики Академии, но, узнав, что он крепостной, пришел в уныние. По закону крепостной не мог состоять в учениках Академии даже при согласии помещика.

Надо было выкупить Тараса, либо уговорить помещика дать ему вольную. Но на это надо было время и деньги. Дело явно затягивалось.

Художник Сошенко сходил к Ширяеву и упросил последнего дать Тарасу временный отпуск для того, чтобы тот мог посещать занятия в зале Общества поощрения художеств. Ширяев неожиданно согласился, хотя сказал, что это блажь и напрасная затея.

Шевченко стал ходить на временные занятия по живописи.

Между тем Жуковский, близкий ко двору, в разговоре с императрицей обрисовал ужасное положение талантливого юноши, который закрепощен и в силу этого не может стать художником.

Но что могла сделать императрица? Помещик — полновластный хозяин своих крепостных. Было бы неприлично вмешиваться государыне в то, что освящено царем и законом.

Оставались два пути: купить Тараса у помещика или склонить помещика к филантропическому шагу — дать Тарасу освобождение.

Жуковский просил Брюллова заняться этим делом.

И вот Брюллов отправился к полковнику Энгельгардту для переговоров.

Неизвестно, каков был разговор помещика с Брюлловым. Известно только то, что Брюллов вернулся от Энгельгардта взбешенный до последней степени.

«Это самая большая свинья из всех свиней, каких только мне приходилось видеть» — сказал Брюллов в ответ на расспросы о результатах переговоров.

Шевченко, узнав о неудаче, пришел в такое отчаяние, что хотел покончить с собой.

Брюллов утешал его. Жуковский, узнав об отчаянии молодого человека, написал ему успокоительную записку.

Решено было снова обратиться к Энгельгардту с просьбой назначить цену на крепостную душу Тараса.

Сошенко вызвался было пойти к помещику для переговоров. Но появление бедного художника у блестящего офицера могло бы сорвать дело. И по этой причине для переговоров попросили пойти придворного живописца Венецианова. Быть может он, близкий ко двору человек, имеющий генеральский чин, сумеет задеть чувствительные струны сердца помещика, и тот пойдет на филантропию или же назначит «божескую» цену за крепостную душу.

Полковник Энгельгардт был раздражен назойливостью художников.

Он целый час выдержал придворного живописца в своей передней. И когда принял его — разразился упреками. Он сказал:

«Что вы, собственно говоря, хотите от меня вместе с вашим Брюлловым? О какой филантропии вы изволите говорить? В этого крепостного я вложил изрядные деньги, для того чтобы он был тем, каким вы его видите. Я решительно прошу вас не говорить мне о какой-либо благотворительности или филантропии. В наш коммерческий век это, сударь, просто смешно слышать. Моя крайняя и решительная цена за крепостного Тараса — две с половиной тысячи рублей ассигнациями. Если вам будет угодно теперь об этом предмете говорить, — давайте будем говорить».

Сконфуженный и растерянный придворный живописец вернулся от помещика.

Жуковскому пришла мысль собрать деньги для того, чтобы выкупить Шевченко. Это он берется сделать в кругу придворных людей.

Но Брюллов сказал, что будет, пожалуй, лучше, если он напишет, скажем, портрет Жуковского, и этот портрет они за две с половиною тысячи разыграют в лотерею.

Так и было сделано.

Брюллов написал портрет Жуковского. И вскоре деньги были собраны.

Придворный живописец Венецианов снова отправился к Энгельгардту.

Помещик, несколько поломавшись и поговорив о том, что Шевченко стоит значительно дороже, чем он за него спросил, дал отпускную.

Это был знаменательный день для Шевченко — 22 апреля 1838 года.

## 8. НОВАЯ ЖИЗНЬ

Тарас Григорьевич Шевченко не сразу узнал об этом своем счастьи.

Он был болен. Он лежал в больнице с брюшным тифом.

Он поправлялся, но медленно. Художник Сошенко зашел его проведать, но не сообщил ему об этом радостном событии, потому что врач не посоветовал волновать больного.

Хозяин же Тараса, «разных малярных дел» мастер Ширяев, узнав от Энгельгардта об освобождении своего ученика, пришел к нему в больницу и рассказал все, что он знал.

Радость Шевченко была необычайна.

Он вышел из больницы иным человеком. Рабство кончилось. Кончилась та унизительная жизнь, которая так удручала художника. Он был теперь свободен. Радость его была так велика, что он всех целовал и при этом плакал, говоря, что только теперь он понял, что такое крепостное право, что такое быть крепостным.

Шевченко то и дело вынимал из кармана свою отпускную и целовал ее, заливаясь слезами.

Тарас Григорьевич поселился на квартире у художника Сошенко. Теперь его приняли в ученики Академии. И он стал посещать классы, стал систематически обучаться живописи.

Он лихорадочно принялся за свое самообразование. К. Брюллов разрешил ему пользоваться его библиотекой. И молодой Шевченко многие вечера провел за книгами.

Он в короткое время прочитал всех классиков. Он стал разбираться в политике. С ужасом и с содроганием он понял, что такое социальное неравенство, которое было в России в такой неумеренной степени. Он понял, что нужна борьба, нужен переворот, который уничтожил бы царский строй

в России. Еще мальчишкой в Вильно и в Варшаве он прислушивался к разговорам об этом. Теперь ему все стало ясным окончательно.

Шевченко стал читать поэтов. И сам начал писать стихи, стараясь изложить в них волновавшие его мысли и чувства.

Художники по-товарищески относились к нему. Он сблизился с ними. И нередко проводил вечера в разговорах о жизни и об искусстве.

Шевченко был умен и гениален, — он в короткое время сумел впитать в себя ту культуру, к которой он теперь прикоснулся. Его товарищи с удивлением смотрели на него. Казалось, что произошла волшебная перемена. Вчерашний крепостной маляр ничем не отличался от своих товарищей, — он многое знал, верно судил об искусстве, и любая беседа была для него не затруднительна.

Больше того, его стали ценить и уважать и с ним считаться, как с человеком, который имеет твердые убеждения и хороший вкус.

Брюллов полюбил Тараса Григорьевича. Он не раз вместе с ним ходил в Эрмитаж, где показывал ему картины великих мастеров. Он рассказывал о жизни и творчестве этих выдающихся художников.

Брюллов полюбил Шевченко за его светлый ум, за его удивительную скромность, за его любовь к искусству.

Брюллов — умный и тонкий человек, замечательный художник — сумел увидеть в Шевченко выдающегося человека.

Шевченко стал его любимейшим учеником. И Брюллов пророчил ему великое будущее.

И действительно, Шевченко достиг огромных успехов. Весной 1839 года Шевченко был награжден серебряной медалью за свой этюд «Бойцы». Это было событие в жизни Шевченко не менее важное, чем даже освобождение от неволи. Получить отпускную ему помогли люди, медаль же была наградой за тяжкий и упорный труд, за непреклонную волю, за десятки преодоленных препятствий. Это была награда за то искусство, к которому Шевченко стремился с детских лет.

Переход от мрачного чердака маляра Ширяева к тому, что имел сейчас Шевченко, был необычаен. Правда, Шевченко жил еще в бедности. Но у него уже были заработки — он рисовал портреты.

Через Брюллова Шевченко познакомился со многими светскими людьми. Его всюду стали приглашать. Им интересовались, как новым явлением, как человеком, вышедшим

из слоев неведомого народа и достигшим своим трудом теперешнего положения.

Шевченко стал по-модному одеваться. Он стал франтить. После нищеты и бедности, после зипуна и кафтана он теперь наряжался во фрак. Он стал изучать французский язык, для того чтобы в обществе быть равным всем этим воспитанным молодым дворянам.

Мы привыкли представлять себе Шевченко в том виде, в каком он изображен на своих портретах — стареющим человеком в бараньей шапке, с чудовищными усами, с тяжким взглядом суровых глаз.

Но эти портреты относились к последнему периоду жизни Тараса Григорьевича. Таким он был после ссылки, после Азии. В те же годы, о которых идет речь, двадцатипятилетний Шевченко был совершенно иным человеком. Он был молод и даже юн. У него было лицо артиста. Нежная и милая улыбка. И удивительно добрые глаза. Художники говорили о Шевченко, что «у него в лице было нечто такое, за что нельзя было его не полюбить».

Художник Сошенко с досадой и раздражением отнесся к светскому успеху своего друга. Он укорял Тараса за его пристрастие к пустому и праздному свету, за его перемену в образе жизни.

Но Сошенко не видел всей сложности натуры своего друга. Никакой органической перемены, в сущности, не было. Это была, так сказать, компенсация за тяжкие годы неволи, за всю нищету и лишения. И кроме того молодому Шевченко надо было до конца узнать другую жизнь, увидеть другой мир, чтобы понять, что такое жизнь и что такое люди.

В те годы его светских успехов Шевченко ни в какой степени не изменил самому себе. Он не забыл, что, кроме этого избранного общества, существует иное, бесправное, лишенное человеческого достоинства, из которого он вышел сам.

Тревога жила в душе Шевченко, и ничто не могло заглушить ее. В 1839 году, то есть в год его светских успехов, Шевченко в своем стихотворении «Думы» писал:

Ой вы, думы, мои думы,
Горе, думы, с вами.
Что вы встали на бумаге
Хмурыми рядами?
Что вас ветер не развеял,
Словно пыль степную,
Что вас горе не заспало,
Словно дочь родную. . .

Думы, мои дети,
Где же я найду, родные,
Вам приют на свете?
На Украину идите,
Нашу Украину,
На задворки к бедным людям,
Я же здесь загину.

Эти думы о бедных людях, о несправедливости, о закабаленных крестьянах никогда не покидали Шевченко, где бы он ни находился.

Посещения аристократических домов ничего не изменили в Шевченко. Он попрежнему много читал, изучал поэзию и прилежно учился в Академии.

Осенью 1840 года Шевченко был снова премирован серебряной медалью второго достоинства за опыт в живописи «Мальчик с собакой».

Но живопись полностью не удовлетворяла Шевченко. Все больше и сильней его занимали стихи. В стихах было больше простора для его мыслей и чувств.

У Шевченко уже накопилось много стихов, но он почти никому не показывал их. Писатель Гребенка однажды забрал у него эти рукописи и прочитал их.

Гребенка был поражен, — стихи оказались превосходными. Гребенка восторженно похвалил их и сказал, что неизвестно еще, в чем сильнее Шевченко — в поэзии или в живописи. Возможно, что в поэзии он сильней.

Тарас Григорьевич скептически отнесся к отзыву, говоря, что эти стихи — проба пера, баловство и то непрофессиональное искусство, на которое не следовало бы обращать внимание.

Но Гребенка настаивал на своем. Он показал стихи целому ряду людей, и все приходили к мысли, что это истинная поэзия, замечательная по силе и оригинальности.

Один состоятельный человек вызвался издать книгу стихов Шевченко.

Тарас Григорьевич стал собирать книгу. Он назвал ее «Кобзарь». И в том же году книга была выпущена в свет.

Столичная критика, как мы говорили, иронически отнеслась к книге, но на Украине стихи Шевченко произвели потрясающее впечатление.

Один из писателей (Квитко) написал Шевченко о своих чувствах после прочтения книги: «Волосы на голове поднялись, в глазах зеленело, а сердце как-то болит. Я прижал вашу книгу к сердцу. Хорошо, очень хорошо».

Шевченко понял, что его поэзия может дать людям больше, чем его живопись. Слова с большей силой, чем краски, проникают в человеческое сердце. Словами можно скорее договориться с людьми. Можно скорее сообщить о том, что занимало и тревожило поэта.

Шевченко стал все больше и больше уделять времени стихам.

Он стал поэтом.

## 9. НА РОДИНЕ

Весной 1843 года Шевченко поехал на Украину. Он давно хотел побывать на родине, чтобы увидеть ее новыми глазами.

Пятнадцать лет назад он подростком покинул свое родное село. Теперь он был взрослым человеком, много передумавшим и многое понявшим. Теперь ему было тридцать лет.

Огромные перемены произошли в его жизни. Он был на родине крепостным, кухонным мальчиком, пастухом, — теперь он был известный художник, получивший награды за свои работы, теперь он был популярный автор «Кобзаря», книги, которая так пришлась по душе здесь, на Украине.

Вспоминая наше детство, мы обычно с трудом можем увидеть себя в том маленьком человечке, который пятнадцать или двадцать лет назад жил, чувствовал, плакал и огорчался. Я не помню, кто-то сказал, что «крыса, прошедшая через Малую Азию, не помнит — та ли она крыса, которая вышла из дому».

И действительно, дальний путь, много препятствий, беды и огорчения на жизненном пути притупляют наши воспоминания. Но воспоминания детства у Шевченко были слишком тягостны и слишком остры, и он ничего не забыл из того, что было.

И теперь он с чувством огромного волнения ехал на родину.

Но он не сразу посетил свою родную Кирилловку. Казалось, что его что-то удерживает. Казалось, что он не хочет сразу столкнуться с тем тяжелым и печальным, с чем он ожидал столкнуться.

Он лето прожил в Киеве и в имениях своих новых друзей. Он там писал портреты и, так сказать, в новом своем качестве знакомился с помещичьим бытом.

Он посещал дворянские балы, ездил в гости к помещикам, заводил с ними знакомство, но всюду, как и в Петер-

бурге, где бы он ни бывал, он чувствовал тяжесть в своем сердце и ту тревогу, которая не покидала его, когда он думал о несправедливости, о насилии, нищете и богатстве.

Здесь, на родине, в богатых имениях своих новых знакомых, он на каждом шагу видел крепостной гнет. Его удручали и ужасали картины бедности закрепощенных людей, картины рабского труда и бесправия.

Приехав однажды к одному из помещиков в гости, он увидел, что хозяин «поучил» слугу — ударил по лицу, как тогда говорилось, «побил из собственных ручек». Это была обычная, повседневная сценка в помещичьем доме. Шевченко, увидев эту расправу, страшно смутился и покраснел. Он надел шапку и ушел, хотя его удерживали и даже умоляли остаться.

Он видел и еще более тягостные сцены из помещичьей жизни. Все это жгло сердце Шевченко. Ему казалось, что он должен во все это вмешаться, как-то помочь народу, что-то сделать, чтоб облегчить его участь.

Осенью он побывал в родном селе.

Теперь, когда он был свободным человеком, все показалось там ему еще более ужасным, чем раньше.

Он пробыл в своем селе меньше месяца и уехал оттуда с чувством тяжелой тоски.

Зимой он вернулся с Украины в Петербург. В своей поэме «Сон» он написал прощание:

Я с тобой прощаюсь, край мой,
Что богат-тоскою.
Наши муки, злые муки,
В тучи я укрою...

О своей поездке на родину он написал одному из своих друзей: «Был на Украине... Был везде и все плакал: разорили нашу Украину...»

Вернувшись в Петербург, Шевченко все меньше и меньше уделял внимания живописи. Он теперь усиленно работал над стихами. Но его новые стихи не совсем были похожи на его первые опыты. Лирика стала уступать место политике, вернее, наряду с глубоким и нежным чувством к людям уживалась непримиримая ненависть к врагу, к поработителям, к строю, который был так беспощаден к трудящимся. Шевченко стал призывать к борьбе, к мести, к уничтожению царского строя.

В своей поэме «Сон», которую он написал после возвращения из Украины, Шевченко мечтает об освобождении ро-

дины из-под гнета царской власти, он мечтает о раскрепощении крестьян, жизнь которых непереносима:

Латаную свитку с бедняка снимают,
С кожею снимают — нечем ведь обуть
Недорослей барских...

В этой поэме Шевченко с большой иронией и злостью пишет о царе и об его царедворцах:

Что ж, пойти бы посмотреть бы
На царя в палате —
Что там делают. Вхожу я.
Знать стоит пузата.
Все рядком, все с сапом, с храпом,
Все понадувались, как индюшки...

В том же году Шевченко написал еще несколько замечательных стихотворений. Но и стихи, и Петербург, и Академия не успокоили Шевченко. Он решил снова поехать на Украину. Ему казалось, что там он принесет больше пользы для своей родины. Здесь он был неспокоен. Его все волновало. Он буквально не находил себе места. Он писал в стихотворении, посвященном актеру М. Щепкину:

Научи меня, кудесник,
Друг мой седоусый,
Как быть в мире равнодушным...

Но он сам знал, что для этого надо было сделать. Для этого надо было быть безучастным ко всему, для этого надо было «схоронить живое сердце». Но он этого не хотел:

Схоронить живое сердце
Жалко мне до боли.
Может быть — придет надежда,
Приплывет с водою...
С нею легче заживется
Мне на белом свете...

Он не мог и не хотел «схоронить свое живое сердце», потому что он был сын своего народа, страдания которого были велики. Он не желал равнодушия, потому что он хотел «хоть сквозь сон увидеть правду над родной землею».

А для того, чтобы «увидеть правду над родной землею», нужна была борьба, нужны были ненависть и гнев.

Получив звание свободного художника, Шевченко распрощался с Академией и снова, весною 1845 года, уехал на родину.

Он объездил Украину. И много писал. И это были лучшие его стихи. Они были направлены против насилия, против церкви, против царя и помещиков.

В этих своих стихах Шевченко выступал уже не только от имени угнетенного украинского народа. Он говорил и о других народах, порабощенных царской властью.

Гнев и ненависть, тоска и надежда — вот чувства, которые волновали поэта.

Помимо стихов, Шевченко стал работать и в качестве художника. Он выехал в командировку «для розыскания и срисовывания исторических памятников».

Он также приступил к изданию «Живописной Украины» и привлек к этой работе художников и писателей.

Он знакомился с известными деятелями того времени. В частности, он познакомился и сблизился с Костомаровым, который в то время был вождем украинского славянофильства.

Костомаров и его друзья, члены так называемого Кирилло-Мефодиевского братства, стали приглашать Шевченко на свои собрания.

Шевченко по своим воззрениям не подходил к обществу украинских либералов. Устав братства требовал искоренения рабства и всякого унижения низших классов. Шевченко же шел дальше, — он отрицал не только торговлю людьми, но и торговлю землею. Шевченко был сторонником более решительных действий, — он призывал к восстанию. Салонные же разговоры об ужасах рабства его не устраивали.

Но к братству Шевченко относился с уважением, и с Костомаровым он весьма сблизился и полюбил его.

Весною 1847 года киевский студент Петров, случайно вошедший в Кирилло-Мефодиевское братство, подал губернатору донос о существовании тайного общества.

В своем доносе студент сообщил, что «члены общества затевают народный бунт и произносят дерзкие слова против государя...»

## 10. АРЕСТ И ССЫЛКА

И вот заработало знаменитое III отделение.

Начальник III отделения генерал Дуббельт отдал распоряжение об аресте всех членов крамольной организации.

В Киеве начались аресты. Среди бумаг одного из членов братства были обнаружены стихи Шевченко. По словам по-

лиции, стихи были «исполнены ненависти к правительству». В них говорилось о страданиях, о пролитой крови, цепях, кнуте, о Сибири и прочее.

Шевченко в это время был в Черниговской губернии. Он собирался в Киев, куда был приглашен на свадьбу к Костомарову.

Полиция стала следить за ним. И Шевченко был арестован по приезде в Киев.

Тотчас он был под конвоем отправлен в Петербург.

Шеф корпуса жандармов граф Орлов лично следил за ходом следствия.

Но донос явно преувеличивал значение заговора. Казалось бы, что ничего угрожающего для государства не было в программе братства. «Уничтожение религиозной розни между славянскими племенами», «насаждение грамотности», «союз славянских государств под скипетром царя...» По мысли графа Орлова, это был «бред молодых людей».

Конечно, братство еще требовало уничтожения крепостного права, но не путем восстания.

Граф Орлов весьма милостиво отнесся к членам тайного общества.

В докладах Николаю I граф писал, что в мыслях братства не было «ни народных потрясений, ни переобразования законной власти в России».

Для пользы же дела и чтоб другим неповадно было устраивать тайные общества, двух руководителей братства полиция приговорила к четырем годам крепости.

Но дело о Шевченко выделено было в особое дело, тем более, что он фактически не состоял в членах братства.

Полиция тотчас поняла, кто является наиболее опасным для правительства.

Помимо стихов «возмутительного характера», в бумагах Шевченко найдены были карикатуры на царских особ.

Началось следствие над Шевченко, но не как над членом общества, а как над поэтом, призывающим народ к революции.

Если другие члены братства склонили свои головы перед Николаем I, то этого не случилось с Шевченко.

Его спросили:

«Какими случаями доведены вы были до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя императора, столь нежно поступившего при выкупе вас из крепостного состояния?»

Шевченко ответил:

«Будучи еще в Петербурге, я слышал везде дерзости и порицания на государя и правительство. Возвратясь в Малороссию, я услышал еще более... Я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками... Все это делалось и делается именем государя и правительства...»

Это уже был не верноподданнический ответ члена братства, это был ответ революционера и «опасного государственного преступника».

Во время всего следствия Шевченко вел себя удивительно спокойно, мужественно и с чувством большого достоинства, что еще более озлобило III отделение.

Некоторые ответы, сказанные на следствии, показывают, что Шевченко несколько даже иронизировал над своими судьями.

Шевченко спросили:

«Почему ваши стихи нравятся вашим друзьям, когда они лишены истинного ума и всякой изящности? Не за дерзости ли и возмутительные мысли?»

Шевченко ответил с явной насмешкой:

«Стихи мои нравятся, может быть, потому только, что они написаны по-малороссийски».

Два месяца тянулось это следствие. И, наконец, было признано, что Шевченко «действовал отдельно, увлекаясь собственной испорченностью».

Он был приговорен к ссылке без срока. Он был отдан в распоряжение военного ведомства с тем, чтобы его определили в солдаты в какое-либо отдаленное место.

На приговоре Николай I собственноручно «изволил начертать»: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать».

Одним росчерком царского пера Николай I заканчивал литературную деятельность поэта.

Тотчас Шевченко под присмотром фельдъегеря был отправлен в Оренбург и оттуда в Орскую крепость.

И вот потянулась скорбная жизнь ссыльного поэта. Смрадная казарма, бессмысленная шагистика, свист розог и всякого рода унижения — вот из чего состояла жизнь николаевского солдата.

Казармы закрывались в девять часов вечера, и Шевченко, обессиленный от военных упражнений, без мыслей и чувств, ложился на нары. Даже если бы он имел право писать и рисовать, — он здесь этого не мог бы делать. Особенно тяжелы

были первые месяцы, когда начальство проявляло усиленное рвение сделать из Шевченко бравого солдата.

«Все прежние мои страдания, — писал Шевченко из ссылки, — в сравнении с настоящим были детские слезы».

Тут, в крепости, были грубые и пьяные солдаты, пьяные, потерявшие всякую честь, офицеры, ссыльные дворяне и всякого рода проходимцы.

Впоследствии в своем дневнике Шевченко писал:

«Я и не воображал о существовании таких гнусных нечадий нашего общества».

Первые месяцы ссылки были тем более ужасны, что поэт был отрезан от всего мира. И в столице, и на Украине запрещалось произносить его имя. Никто не смел и думать о переписке с Шевченко.

Связь с «государственным злодеем» почиталась немаловажным преступлением. За это можно было легко пострадать. Это было небезопасно.

Шевченко не знал об этом. Он думал, что все друзья отвернулись от него. И от этого он страдал еще больше.

Но вот стали приходить первые письма с Украины и из Петербурга. И с каждым письмом в Шевченко как бы вливалась жизнь. Все показалось не так уж безнадежно, не так омерзительно.

Снова у Шевченко возникло непреодолимое желание писать или рисовать. Но жестокое запрещение царя было слишком категорическим.

Тем не менее Шевченко послал прошение шефу жандармов о дозволении ему рисовать пейзажи. Но дозволения не последовало.

Тогда Шевченко стал писать тайком. Он сшил себе маленькую тетрадь и носил ее за голенищем.

Шевченко писал:

И вот опять пришлось таиться
Под старость с музою своей.
В бурьяне спрятаться и плакать,
Скрывая думы от людей.

Проходили томительные дни. Непривычный климат действовал на Шевченко удручающе. Он с тоской вспоминал о своей милой Украине. Он писал, глядя на унылые оренбургские степи:

И там степи, и тут степи,
Да тут не такие —
Ржавы, ржавы, даже красны,
А там голубые...

Шевченко стал болеть. Он сначала заболел цынгой. Потом ревматизмом. Ему позволили жить на частной квартире. Но он слишком уж рьяно воспользовался своей свободой, — он стал, не таясь, писать и рисовать пейзажи. И поэтому его снова водворили в казармы.

Между тем друзья, несмотря на всякие строгости, старались облегчить участь Шевченко. Ему стали посылать книги и посылки.

Весной следующего (1848) года Шевченко, стараниями друзей, был назначен в экспедицию, которая отправлялась в Аральское море. Он зачислен был в эту экспедицию в качестве художника для зарисовки берегов.

Это было исключительно трудное путешествие — сначала по знойной, безводной пустыне, потом на шкуне по малоисследованному Аральскому морю. Но все же это была значительная перемена в жизни Шевченко. Тут уже не было смрадной казармы, тягостной муштры, пьяного ротного командира и того томительного однообразия жизни, которое так страшило поэта в Орской крепости.

Больше того, тут, в экспедиции, Шевченко был художником. И с чувством огромной радости он принялся за свое любимое дело.

За этот период жизни Шевченко сделал замечательные работы акварелью и карандашом. Кроме того он написал значительное количество стихов, в которых он остался верен самому себе, — они полны ненависти к царской власти и к угнетателям народа.

## 11. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Осенью 1849 года экспедиция по обследованию Аральского моря закончилась, и Шевченко был отправлен в Оренбург для отделки «живописных видов», что было невозможно сделать в море.

В Оренбурге Шевченко прожил полгода. И это был до некоторой степени светлый период его жизни в ссылке.

Начальник края генерал Обручев терпимо отнесся к ссыльному солдату. Он даже пообещал походатайствовать о представлении его в унтер-офицеры. Ему понравились художественные работы Шевченко. Конечно, это было нарушение приговора, но он снисходительно отнесся даже к тому, что Шевченко писал портрет с его жены.

После тюрьмы и казармы Шевченко мог теперь отдохнуть. Он жил в отличном доме у адъютанта генерала Обручева. С этим адъютантом Шевченко весьма сблизился и даже подружился. Шевченко подружился также с группой польских изгнанников.

Друзья и работа скрашивали жизнь поэта. Но тоска его была велика. Будущее было темно. Молодость проходила. Шевченко писал в Оренбурге:

Три года грустно протекли...
Украдкой схоронило море
Мои — не злато-серебро —
Мои лета, мое добро,
Мою тоску, мои печали —
Все, что в незримые скрижали
Внесло незримое перо...

Но с ним оставалась его поэзия, его творчество. И это придавало ему силу жить. Шевченко писал:

И пусть же будет то, что будет,
Не перестану я писать,
Хотя б за это присудили
Меня распятию предать!

В своих стихах Шевченко был по-прежнему мужественным и бесстрашным борцом за те идеи, которые привели его сюда.

Шевченко писал:

Может, сам на небеси
Смеешься, батюшка, над нами
И держишь свой совет с панами,
Как править миром...
Сдается мне, тебя, владыку,
Давно уж люди прокляли...

Однако сносная жизнь поэта была вскоре нарушена.

Прапорщик оренбургского гарнизона Исаев, повздорив с Шевченко, написал донос на имя генерала Обручева. В доносе прапорщик указал, что Шевченко, вопреки царскому приказу, пишет и рисует и ходит по улицам в штатском платье.

Генерал Обручев, получив донос, струсил. Он подумал, что прапорщик, чего доброго, пошлет или уже послал такой же донос в III отделение.

Виновником же поблажек ссыльному отчасти был сам Обручев. И, стало быть, своей головой он должен был отвечать за все.

Надо было действовать, чтобы спасти свою шкуру.

Генерал отдал распоряжение арестовать Шевченко и произвести у него обыск. Генерал надеялся найти у Шевченко что-либо предосудительное.

Однако приказ об аресте дан был адъютанту, который находился в приятельских отношениях с Шевченко. И адъютант успел предупредить поэта об обыске.

Шевченко вместе с друзьями успел уничтожить то, что его могло скомпрометировать. Однако поэт не захотел уничтожить все. Письма друзей и некоторые рисунки Шевченко оставил. Он сказал своим друзьям, что надо кое-что оставить для инквизиторов, а то они подумают, что добрые люди и знать его не хотят.

В общем, в руки полиции попались два альбома с рисунками, несколько стихотворений и пачка писем.

Приложив вещественные доказательства к своему заявлению, генерал Обручев тотчас направил дело о ссыльном поэте в III отделение. Тем самым он застраховался на случай доноса прапорщика.

Шевченко же посадили на гауптвахту и оттуда отправили в Орскую крепость и там заключили в тюрьму.

И вот началось следствие над ссыльным солдатом, посмевшим писать и рисовать вопреки царскому распоряжению.

Снова заработало III отделение. Снова граф Орлов доложил государю о случившемся. Снова началось следствие.

Несколько месяцев поэт сидел в Орской тюрьме в ужасных условиях, без всякой надежды на то, что к нему отнесутся снисходительно.

Но вот следствие закончилось. Последовала высочайшая резолюция: «Отправить Шевченко в места еще более отдаленные, в Новопетровское укрепление, и там держать его под строжайшим надзором, без права переписки и, тем более, без права писать и рисовать».

Ближайшее начальство Шевченко получило строгий выговор. Что касается генерала Обручева, то он вышел сухим из воды.

И вот Шевченко выпущен из тюрьмы. На лодке из города Гурьева его везут по Каспийскому морю в Новопетровское укрепление (Александровский форт).

Это место пустынное и дикое. За укреплением — безграничные выжженные солнцем степи. Полное отсутствие растительности. Восточные азиатские ветры. И неприветливое Каспийское море.

Само укрепление было только недавно основано. Там было всего две роты солдат, несколько офицеров, врач и священник.

И вот здесь провел Шевченко более семи лет. Первый год ссылки был особенно ужасен. Ротный командир, в лапы которого попал Шевченко, был грубый, бессердечный, некультурный и придирчивый человек. Он, казалось, задался целью истребить поэта всеми законными средствами.

Он делал неожиданные обыски, когда Шевченко выходил из казармы. Он стаскивал с него сапоги и шарил по карманам, надеясь найти клочок бумаги или карандаш. Он кричал и подтягивал Шевченко, обещая его пороть в случае малейшего нарушения службы.

Он заставлял Шевченко целыми днями маршировать и делать ружейные приемы. Посылал его на тяжелые фортовые работы. И ни на шаг не выпускал из казармы без надзора.

Шевченко казалось, что жизнь его закончена. Друзья, которые писали ему раньше, перестали писать. Шевченко не знал, что полиция запретила им переписку.

Шевченко наиболее тяготило полнейшее одиночество. Ему не с кем было сказать слово. Солдаты чуждались его, вернее, им не очень-то позволяли «поддерживать связь» с рядовым из политических преступников.

Мы не можем себе представить всей той тяжести, которую нес ссыльный поэт в первые годы своей жизни в Новопетровском форте.

С каждым месяцем ротный командир все более зверел и все более «цукал» поэта.

Но вот неожиданно произошла перемена.

В 1853 году умер комендант форта, и на его место прислан был новый комендант, некто И. Усков.

Это был, как писал Шевченко в своем дневнике, «человек порядочный и семейный».

Этот комендант и его жена постарались улучшить тяжелую жизнь Шевченко.

Уже через несколько месяцев после назначения Ускова поэт мог приняться за литературную работу. Он стал писать прозу.

У него снова началась переписка с друзьями. Он снова просветлел. И снова появились у него надежды.

Семья Ускова полюбила Шевченко. Он стал у них бывать как знакомый. Он с нежностью нянчил их детей. Сам комендант Усков подал рапорт начальнику края с прось-

бой разрешить Шевченко написать красками запрестольный образ «для благолепия местного храма».

Однако разрешение получено не было.

Но вот в 1855 году умер Николай I.

Поэт ждал каких-нибудь перемен в своей участи. Но перемен не последовало.

## 12. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Снова проходили долгие месяцы и годы, — Шевченко оставался в ссылке.

Петербургские друзья старались сделать все возможное для освобождения его от солдатчины. И, наконец, спустя два года после смерти Николая I Шевченко был амнистирован.

Осенью 1857 года Шевченко покинул место ссылки.

Его радость была велика. Но чувство тоски не покидало его.

Семь лет назад его доставили на лодке в Новопетровский форт. И тогда он был молод и бодр. Сейчас та же лодка увозила на вольный берег седого угрюмого старика. Он не был стар, ему было всего сорок четыре года, но он казался стариком, разбитым, с потухшим взглядом.

Однако его сердце вновь ожило, и он вновь почувствовал прилив огромной энергии и радости жизни, когда, наконец, он приехал в Астрахань.

Здесь друзья и земляки встретили его с таким участием и с такой теплотой, что все недавние беды были почти позабыты. Он снова встретил людей, искренно его любящих, почитающих его ум, его поэтический талант, его замечательное сердце, его волю революционера и борца за освобождение трудящегося народа.

Из Астрахани Шевченко отправился на пароходе в Саратов и в Казань. И, наконец, приехал в Нижний.

Неожиданно возникли препятствия к дальнейшему пути Шевченко, — полиция запретила ему въезд в Москву и в Петербург.

И здесь, в Нижнем, Шевченко пришлось задержаться на полгода.

Здесь, как и в Астрахани, Шевченко встретили необычайно тепло и взволнованно. Почитатели и друзья постарались окружить его вниманием и заботой. Всюду его встречали так сердечно и с таким высоким почитанием, что Шевченко был потрясен.

Теперь ему казалось, что не даром прошла его молодость. То искусство и те мысли, за которые он так тяжко расплатился, были нужны и полезны народу. За это можно не пожалеть своей жизни.

Снова у Шевченко появилось непреодолимое желание заниматься искусством, писать стихи.

Он вновь принялся за стихи, за которые почти не брался в Новопетровском укреплении.

Шевченко только что вернулся из ссылки. Он только что почувствовал радость свободы. Казалось бы естественно, если б он теперь писал более осторожно и более сдержанно. Но поэт попрежнему оставался в своих стихах тем непреклонным человеком, тем политическим борцом, каким он был всегда.

В своих стихах, написанных в Нижнем-Новгороде, он прославляет декабристов и с прежней ненавистью пишет о Николае:

Безбожный царь, зачинщик зла,
Гонитель правды прежестокий,
Что натворил ты на земле!

Стало быть, ни тюрьма, ни ссылка, ни унижения ничего не смогли сделать с поэтом. Он оставался таким же, как был,— сыном своего народа — мощным, неподкупным и мужественным. Идея его была выше его жизни, выше его личного счастья и спокойствия.

Между тем физическое его здоровье было совершенно неудовлетворительно. Он перенес в ссылке жестокий ревматизм, который в значительной степени испортил его сердце.

Физически Шевченко был изломан тюрьмой и лишениями. Тем более удивительно было видеть в нем его прежнюю нравственную силу.

Теперь, вернувшись из ссылки, Шевченко более всего страшился одиночества. Из всех лишений в ссылке — одиночество было для него наиболее тягостным.

Он пришел к мысли, что ему следует жениться, что это избавит его от тоски, от дурных нервов и от страха одиночества.

Ему понравилась одна актриса. Это была совсем еще молоденькая девушка. Ей было всего лишь шестнадцать лет.[1] Она почтительно и робко смотрела на знаменитого поэта.

Разница в годах была слишком значительная. Тем не менее Шевченко сделал ей предложение.

---

[1] В прошлом столетии этот возраст считался достаточно зрелым.

Шевченко не был женат. Женщины играли роль в его жизни, но эта роль не была сколько-нибудь значительна. Вернее, женщины ни в какой степени не изменили его жизни поэта и общественного деятеля. Вот почему мы говорим о незначительности роли женщины в его судьбе.

Мы даже не сочли возможным, говоря о жизни Шевченко, всякий раз останавливаться на каком-либо его личном отношении к той или иной женщине.

Между тем Шевченко не раз увлекался и не раз был влюблен. Как сказал про себя поэт Блок: «И был я в розовых цепях у женщин много раз».

Шевченко много раз был «в розовых цепях». И, нет сомнения, это благотворно влияло на его поэзию.

В своем дневнике, написанном в последние годы его жизни, Шевченко вспоминает об одной девушке. Он ее любил, когда ему было семнадцать лет. Он тогда был в Вильно казачком у помещика Энгельгардта. Он хотел на ней жениться, но брак не состоялся, потому что он был крепостной раб. А она была свободная девушка. Шевченко на склоне своей жизни увидел ее во сне и записал об этом в дневнике. Это показывает, как сильно было его чувство.

Биографы приводят несколько случаев, когда Шевченко был увлечен и собирался жениться. Известен случай, когда Шевченко полюбил подругу своего приятеля, художника Сошенко. И та ушла к нему. Это послужило причиной ссоры между друзьями. Между тем любовь к этой девушке была непродолжительной.

Но нам кажется наиболее характерным первое чувство Шевченко. Первые впечатления всегда бывают наиболее ярки и наиболее показательны.

В одном из своих стихотворений Шевченко пишет о том, как он пас коров и как ему однажды сделалось невероятно тоскливо, и о том, как его маленькая подруга, увидев его горе, поцеловала его.

Шевченко пишет, какое нежное и глубокое чувство тогда возникло у него, двенадцатилетнего мальчика:

Как будто солнце засияло,
Как будто все на свете —
Поля, леса, сады — стали моими...

Это показывает, какое удивительно сильное чувство он мог испытывать, каким глубоким могло быть влияние женщины на Шевченко.

Но этого не случилось. Нет сомнения, что внешние причины (рабство, тюрьма, лишения) были велики, но помимо этого тут, вероятно, были и внутренние причины, нам не известные, какой-то, может быть, душевный конфликт или предубеждение.

Байрон однажды сказал: «Ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства».

Любовь же к «изящным искусствам», по нашему мнению, «означает душу», которой (в какой-то мере) было запрещено любить. И тут возможны глубокие противоречия. Во всяком случае, стремления и даже страсть ничего не обозначают. Показательна лишь реализация своих стремлений.

У Шевченко было удивительное стремление уйти от своего одиночества. Он так писал:

**А я ведь не казны богатой**
**Просил у бога: только хату,**
**Одну бы хатку мне в лесу,**
**Да два бы тополя над нею,**
**Да бедную мою красу,**
**Мою Оксаночку, чтоб с нею**
**Полюбоваться нам с горы**
**На Днепр широкий, на обрыв,**
**На золотистые поляны,**
**Да на высокие курганы.** [1]

Итак, сорокачетырехлетний Шевченко сделал предложение молоденькой актрисе, которую он полюбил.

Но девушка была слишком молода. Она дрожала от страха, когда поэт заговаривал с ней о своем чувстве. Родители были против. И брак не состоялся.

Это дурно повлияло на Шевченко. Он был мрачен, и к нему все чаще приходили мысли об ушедшей молодости.

Он уехал в Петербург, куда, наконец, полиция разрешила ему въезд.

В Петербурге Шевченко позабыл о своем сердечном горе.

Снова близкие друзья, снова пламенные почитатели, снова прекрасный город, в котором Шевченко провел свои молодые годы, — все это отвлекло его от мрачных мыслей.

Но шум и почести не доставляли Шевченко удовлетворения. Он уже старался избегать новых знакомств. Он стал бояться, что он сделается «модной фигурой» в Петербурге.

Но он не мог избежать славословий. Он теперь был очень популярен, и слава его была велика.

---

[1] Перевод В. Звягинцевой.

## 13. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Шевченко приехал в Петербург весной 1858 года. И тут суждено было прожить ему всего лишь три года. В марте 1861 года он умер.

Он приехал в Петербург с разрушенным здоровьем. Тюрьма, тяжкие годы ссылки, болезни, перенесенные там, сделали свое черное дело, — богатырская натура Шевченко начинала сдавать. Но дух его был необычайно бодр. Он чувствовал себя сильным и даже, по временам, счастливым. Тут у него были друзья, искренне и сердечно его любящие.

С радостью он снова приступил к работе.

Уже через месяц после приезда в Петербург он начал хлопотать в Цензурном комитете о разрешении выпустить новое издание «Кобзаря». Но это разрешение достать было не так просто. Имя Шевченко звучало слишком грозно для правительственных учреждений.

Шевченко озаглавил свою книгу «Поэзия Т. Ш.». Но и эта предосторожность не ускорила издания.

Более чем через полгода Шевченко получил, наконец, разрешение печатать свои стихи. И то цензор наложил на них свою руку и, как пишет Шевченко, «так покрестил их, что я едва узнал своих детей».

Шевченко не позабыл и о своем другом деле, — он стал работать в живописи и в гравюре.

Все, казалось бы, складывалось хорошо, но, если так можно сказать, в душе Шевченко было что-то сломано. У него уже не было того душевного равновесия, которое необходимо для искусства.

И. С. Тургенев в своих воспоминаниях пишет о Шевченко, что «он вернулся в Петербург с запасом горечи на дне души». И это было так:

Но эта горечь в меньшей степени относилась к его личной жизни. Эта горечь была велика, потому что его братья и сестры оставались крепостными, потому что оставались закабаленными «мужики», потому что в России был ненавистный ему царский строй и потому что нельзя было тотчас это изменить и поправить.

Эта горечь убийственно действовала на здоровье Шевченко. Он снова не находил себе покоя, снова метался от дела к делу.

Он поехал на Украину, где он не был более двенадцати лет. И там, на родине, он снова увидел то, что всегда приводило его в содрогание. Он снова увидел адский труд, бед-

ность, заплаты, слезы, он снова увидел почерневшие соломенные крыши нищих крестьян.

Вот что наиболее всего было причиной его сердечной тоски. Как сказано у Блока:

И низких, нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
О нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь!
О бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь!

Поездка на родину не успокоила Шевченко. Поездка еще более взволновала его. Раны снова раскрылись. С чувством болезненной тоски Шевченко писал:

Где скрыться мне?
Кругом Пилаты распинают,
Морозят, жарят, припекают
Людей на медленном огне. . .

Между тем полиция зорко следила за каждым шагом Шевченко на Украине. Полиции стало известно, что на одном из диспутов Шевченко «богохульствовал и говорил, что не нужно ни царя, ни панов, ни попов».

Шевченко был арестован. Начались следствие и допросы. Но обвинение было недостаточно основательным для создания крупного дела. Шевченко был освобожден, так как гуманному губернатору Васильчикову показалось, что полиция арестовала его «из желания выслужиться за счет ближнего».

В данном случае губернатор ошибся. Но все же он был хороший психолог и отлично, видимо, знал нравы полиции. «Из желания выслужиться за счет ближнего» — не такое уж было редкое явление в полицейском ведомстве.

С чувством еще большей горечи Шевченко вернулся в Петербург. Теперь Шевченко казалось, что он слишком мало сделал для народа, что он не помог народу, что его жизнь проходит бесцельно.

С огромным чувством ненависти он писал, обращаясь к богу, в которого он не верил:

Царей, кровавых шинкарей,
В оковы крепкие закуй,
В глубоком склепе замуруй.

Рабочим людям, всеблагий,
На их обкраденной земле
Свою ты силу ниспошли.

В Петербурге Шевченко стал знакомиться с русскими революционерами, стал налаживать связи с представителями русской демократии. В частности, он познакомился с Чернышевским, Добролюбовым, Курочкиным.

Шевченко полностью разделял взгляды Чернышевского, который считал, что никакие царские реформы не избавят народ от гнета помещиков, — нужна борьба, нужен топор, который разрубит узел.

Иной раз Шевченко казалось, что его борьба за раскрепощение народа ничего не сделала и никому не помогла. Но это было совершенно не так. Тайный кружок Петрашевского распространял стихи Шевченко с агитационной целью. Стихи Шевченко с огромной силой действовали на читателя. Поэт и революционер вел за собой народные полки и выигрывал сражения, казалось бы, в неравной борьбе с царским правительством. Но эти победы не были еще ощутимы. И чувство горечи у поэта возрастало.

Ему теперь казалось, что его жизнь закончена, молодость прошла. Может быть следовало бы уехать куда-нибудь на берег Днепра и там, в тишине, скоротать свою жизнь.

Шевченко просил своего «названного» брата Варфоломея Шевченко купить ему клочок земли на берегу Днепра с тем, чтобы построить там хату. Шевченко просил брата посватать ему одну крепостную девушку Харитину, которая ему приглянулась, когда он был в последний раз на Украине.

Варфоломей уговаривал Шевченко жениться на панночке, а не на крепостной. Но Шевченко ему ответил:

«Я по плоти и по духу сын и родной брат нашего народа,— так как же я могу соединиться с панами кровью».

Брат Варфоломей не смог сосватать ему Харитину. Почти год тянулось его сватовство, и девушка, наконец, ответила Варфоломею, что она «еще не думает выходить замуж, и тем более за лысого и седоусого».

Между тем клочок земли был найден. Но покупка откладывалась — продавец не очень-то желал иметь Шевченко своим соседом.

И вот выходило, что и сватовство и покупка земли не могли состояться.

Тогда в Петербурге Шевченко сделал предложение другой девушке, тоже крепостной, горничной из одного дворянского дома. Эта девушка Лукерья согласилась пойти за Шевченко. Но и эта женитьба расстроилась. Шевченко поссорился с ней, узнав, что она хотела пойти за него по расчету.

Но и без этого, видимо, брак не состоялся бы. В стихотворении, посвященном своей невесте, Шевченко пишет:

Я построю себе хатку,
Вкруг садочек рассажу.
В зеленом своем садочке
Посижу и похожу.

И далее он пишет, как в этом саду ляжет спать и какой сон ему приснится:

Нет. Боюсь, сон будет злой:
Ты приснишься и разгонишь
То, что создано мечтой.

В общем, женитьба расстроилась. Но и тут мужественное сердце поэта не было разбито. Он лихорадочно принялся за работу. Он задумал издать все свои сочинения. И кроме того он взялся за новую работу, — он стал составлять учебники и букварн для народа.

Он пришел к мысли, что народу прежде всего надо быть грамотным и культурным, для того чтобы сбросить с себя иго помещиков и царя.

Шевченко составил букварь на украинском языке и принялся за составление учебника арифметики.

Букварь вышел. И Шевченко стал рассылать его по сельским школам. Но тут встретились препятствия. Власти без удовольствия смотрели на эту новую затею поэта. И его букварн не всюду проникли в сельские школы.

## 14. СМЕРТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

К осени 1860 года здоровье Шевченко крайне ухудшилось. Перенесенный в ссылке ревматизм испортил его сердце. Начиналась водянка.

Врачи уложили больного в постель. И потребовали, чтобы он был спокоен. Но этого спокойствия у Шевченко не было.

Со дня на день Шевченко ожидал манифеста о раскрепощении крестьян. Но манифест все еще не появлялся.

Два месяца Шевченко безвыходно сидел дома. Но он продолжал работать до последних дней.

Болезнь, между тем, приняла угрожающие формы. Один из врачей сказал: «Вода бросилась в легкие и затопила все надежды».

В шесть часов утра 9 марта (26 февраля) 1861 года Шевченко, спустившись в свою мастерскую, упал на пороге и, не приходя в сознание, умер.

Умер замечательный народный поэт.

В своем завещании (1846 год) он написал:

Как умру — похороните
На Украйне милой. . .
Схороните и восстаньте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В братстве вольном, новом,
Помянуть не позабудьте
Добрым, тихим словом. . .

Тело Тараса Шевченко перевезли на Украину. И похоронили на правом берегу Днепра, возле Канева.

На смерть Шевченко поэт Некрасов писал:

Не предавайтесь особой унылости:
Случай предвиденный, даже желательный,—
Так погибает, по божьей по милости,
Русской земли человек замечательный.

Слова Некрасова — «случай желательный» — следует понимать в том смысле, что для такого человека, как Шевченко, в России готовились более страшные вещи, чем смерть, — тюрьма и каторга.

Так и оказалось. После смерти Шевченко возникло дело о заговоре против помещиков. Будущий сосед Шевченко (у которого покупалась земля) послал донос в полицию на поэта и на его последователей.

Несколько месяцев шло следствие, и, если б Шевченко не умер, он снова был бы в тюрьме и в ссылке. Вот почему так звучат горькие слова Некрасова: «Случай предвиденный, даже желательный».

*1939 г.*

*Павел Евстафьев*

# ОРСКАЯ КРЕПОСТЬ

*(Повесть)*

## 1

Кузнец выравнивал копыто. Тонкие обрезки падали из-под кривого ножа на сухую землю. Привязанная за кольцо на короткий чумбур, рослая гнедая лошадь кусала изъеденный столб.

Киргизенок сидел на корточках рядом с Тарасом и внимательно следил кофейными раскосыми глазами за работой кузнеца.

Было уже за полдень. Знойный воздух жидким стеклом колебался над степью. От кузницы крепость была видна как на ладони. На синем небе выделялась белая каменная церковь, а за ней длинная бурая лента — крыши казарм, каторжного каземата, цейхгаузов. Над крепостным валом поднимались, похожие на большие скворешники, две сторожевые вышки.

Лошадь была подкована. Тарас отвязал чумбур от кольца.

— Ну, Тарас Григорьевич, — кузнец провел ладонями по черному кожаному фартуку, — сработал на совесть. Скажешь командиру, что Вавила, мол, старался, — подмигнул он. — А с тебя табачок за работу.

Киргизенок нетерпеливо топтался возле лошади, посматривая то на кузнеца, то на Тараса. Ему хотелось поскорее вскочить на лошадь. Не вытерпев, наконец, он потянул повод из рук Тараса.

Кузнец засмеялся.

— Ишь, какого дружка ты себе выискал, Тарас Григорьевич, — сказал он. — Им конь всего дороже. С малых лет в седле. Не томи уж его, дай потешиться.

Мальчик, как кошка, вскочил на лошадь. Полы цветного халата разлетелись. Пронзительно взвизгнув, он поднял лошадь в галоп и помчался не к крепости, а влево, по выжженной солнцем ровной степи.

Тарас задумчиво шел по тропинке. Иногда нога проваливалась в норки сусликов и полевых мышей. Кругом было тихо. Высоко в небе, распластав крылья, висел беркут. Солнце, задернутое белесоватой пеленой, нещадно палило. Тарас снял солдатскую фуражку, вытер рукавом рубахи пот с высокого лысеющего лба.

Из степи донесся конский топот. Маленький киргиз подскакал к Тарасу. Глаза мальчика блестели. Он возбужденно засмеялся.

— Хорошо, бачка, у... у... хорошо.

— Ну, хватит, Ильяс, теперь до крепости шагом надо, — сказал Тарас, потрогав мокрый бок лошади. — Не похвалит нас полковник, если запаленную приведем.

Он пошел рядом с лошадью, положив руку на колено киргиза.

Тарас вздрогнул от неожиданности, когда вдруг протяжные гортанные звуки полились по степи, — пел Ильяс. Напев был однообразный, невеселый, но звучала в нем сила и дикая красота. Века кочевий, подвиги батырей, кровавые сечи в бескрайных степях, едкий дым кизяка, скрип колес кибиток, крики хищных птиц воскресали в этом напеве.

Ни одного слова не понимал Тарас, но напев взволновал его. Грусть овладела его сердцем. Захотелось сложить песню, чтобы в ней так же просто рассказать о своей тоске, одиночестве. о том, что страшно жить бесправным, забытым.

Подковы застучали по деревянному настилу моста. Ильяс соскользнул с лошади и передал повод Тарасу. Тарас еще раз оглядел лошадь, стер пучком сухой желтой травы следы пота с потемневшей шерсти.

Поднявшись на изволок, они услышали металлический звон и глухие удары. Во всю ширину улицы, ведущей к дому коменданта, офицерскому собранию и гарнизонной канцелярии, расположилась толпа каторжан.

Одни из них, подобрав кандалы, привычным мелким шагом двигались взад и вперед с носилками битого камня, другие сидели по краям улицы, подогнув по-турецки ноги, обернутые мешковиной, и тяжелыми молотками дробили камень.

Густая пыль стояла в воздухе, оседала на мокрые от пота лица, покрывала их слоем серой пудры. Два гарнизонные солдата в полной выкладке сидели на куче щебня, поставив между колен большие тяжелые ружья.

Тарас вел лошадь по обочине дороги. Зрелище каторжных работ стало привычным за полтора года, проведенных в крепости. Но никогда он не мог заставить себя спокойно смотреть на закованных людей. Ведь только одна маленькая ступенька отделяла его от них.

— Ты чего, кислая шерсть, людей не видишь! Куда с конем прешь?

Горбатый каторжник поднял на Тараса злобное лицо с перебитым носом и замахнулся на лошадь молотком. Тарас дернул за повод и оглянулся на кричавшего. Бросились в глаза клейма на лбу и щеках — три буквы «КАТ», длинные обезьяньи руки, державшие тяжелый молоток, и на спине куртки, на самой вершине горба, бубновый туз.

— Ты, служба, нашего Короля не тронь, — убьет, маленький да удаленький, — сказал с усмешкой высокий каторжник, опуская на землю пустые носилки. Это был еще молодой человек с бледным испитым лицом. Поражали глаза, карие, большие и грустные. Каторжник ничем не отличался от других. Но было в его глазах, голосе, сильном и необыкновенно мелодичном, в движениях, исполненных естественного изящества, то, что выделяло его из толпы каторжан.

Тарас невольно остановился. Ему пришла странная мысль: перед ним — актер, загримированный каторжником. Казалось, окончив роль, он сбросит с себя этот острожный наряд и не наденет его до следующего спектакля.

— А ты чего, Соловей, встреваешь? Две собаки дерутся— третья не приставай. — И горбун с неожиданной для хилого тела силой одним ударом расколол большой камень.

— Ты и есть Соловей? Тот самый? — спросил с любопытством Тарас, удерживая под уздцы беспокоившуюся лошадь.

— Тот самый, — сказал Соловей.

— А я тебя представлял совсем другим.

— Что ж: лучше или хуже?

— Нет, просто другим. — И Тарас осторожно повел лошадь между кучами щебня.

На повороте у цейхгауза его догнал заговорившийся со знакомцами-каторжанами Ильяс.

Несколько дней искал Тарас новой встречи с Соловьем. Каторжник, известный на всю крепость своим голосом и необычной судьбой, не покидал мыслей Тараса.

Однажды, когда замолкли удары молотков на дороге, были брошены носилки и каторжане расположились обедать, Тарас услышал от самого Соловья его печальную историю.

Солдат и каторжник сидели, опустив ноги в канаву. Под горой лепились татарские домики, а рядом через дорогу был виден инженерный двор с каторжным казематом. Это низкое бревенчатое строение под прямым углом примыкало к вытянутым в одну линию гарнизонным казармам.

Соловей жевал хлеб, запивая водой из мятой жестяной кружки.

— Жизнь, — она у каждого разная бывает. — Соловей выплеснул остатки воды на сухую траву. — Одно сходно у людей, — горе. Твое ли, мое — одинаково. С чего жизнь почал? Так скажу — с лапты.

Тарас удивленно посмотрел на собеседника.

— А ты глазами не зыркай. С лапты, говорю, значит — с лапты. А что до нее было, то один туман и сказка.

Соловей аккуратно завернул в тряпицу остатки хлеба.

— Было мне лет пятнадцать, и жил я в доме у папаши. А папаша мой был из благородных — чиновник на почте. Городок наш маленький, кругом леса, а в деревнях — беднота, голь перекатная. Но были там ловкачи, славился уезд конокрадами. Сведут лошадку и так перекрасят, что со всех концов обойди ее хозяин — не узнает. Так и жили, так и живут.

«Под вечер это случилось, в пятницу, на Федора Стратилата. Играли мы, ребята, в лапту, не поладили, пошло дело на кулаки. Один позадиристей был, — Глуздой его звали, — со мной схватился. Я ему: «отстань, отвяжись», а он как банный лист липнет. Невтерпеж мне стало, взял да лаптой его свистнул. Скользнула лапта с шапки на висок, он и сел. Ребята все вбрызги — кто куда. Стою я над Глуздой и думаю: «Ну, что делать?» Убил парня. Домой итти незачем, — самого отец убьет. Сгреб я дружка в охапку и скрыл между бревен у реки, а сам в лес.

«Прежде слышал про леса много хорошего. Говорили у нас: «Не гинет-де в наших пермских лесах душа человечья». И кишат, мол, эти леса, что мошкой, всяким сбродным, вольным, гулящим людом.

«Начал я лесную жизнь. Ягодами да кореньями питался, а доймет — в деревню доходил, хлеба добывал под окнами.

«Уже второй месяц минул моего лесования. Вышел я как-то в сторону, куда раньше не хаживал. Село большое высыпалось на дороге. На погосте кресты торчат, и народ стоит кучкой. Дай погляжу — что такое. Смотрю, все старцы толпятся. У всех котомочки за плечами, в руках батожки — слепые, нищая братия. Я к ним. «Вот, говорят, паренек у нас был, поводырь наш, зачах и помер, хороним теперь». Я молчу, а они жалобятся: «Самые теперь мы несчастные люди и с погоста сойти дороги не найдем, проводил бы ты нас на дорогу».

«Ну, мне что: и пути и время мое. Взял их и вывел. Держу первого за батожок, а за ним все гуськом плетутся, палками в землю тычут. Где лужи, где мост, где выбоина — я предостерегаю: «левей, правей, деды». Дошли до привала на лужайке, и тут они со мной расставаться не хотят. Условие выложили: «Пойдешь с нами, — харч тебе от нас и рубль деньгами на четыре недели, а после Ирбитской ярмарки, куда путь держим, и по трояку давать станем».

«Думать мне долго было нечего, и стал я поводырем. А они, старички, ловкие: парнишку-то похоронили, а паспорт его на руках у них остался, будто он и не помирал. И стал я Иваном Дерюшкиным, а был Семеном Травиным.

«Долго ходил я со слепцами и всяких див видывал много. И скажу, что такого дошлого и злющего народа я потом и на каторге мало встречал. Сядут они на базаре иль на паперти, хоть святых с них пиши: хворенькие да слепенькие — всяк их обидит. Тянут стих духовный, у каждого в руках чашка, туда прохожие деньги кидают.

«К вечеру вел я старцев в лес, там артелью дуван делили. И чего тут только не было: что ни дележ, то драка с мордобоем. Один старичонко, — Порфирием звали, — и беспамятный-то он, ни одной молитвы не запомнит, и голос-то у него куриный, а как дойдет до дележа, — сейчас в драку: «Я ноне шибче всех вас пел, и меня сегодня купец приласкал, в мою чашку больше денег кидали». А потом вся братия прямиком в кабак. Гульба — дым коромыслом. Сначала в диковинку мне это было. Поглядел я, как в кабаке они посуду костылями колотили, и думаю: «Вы ли это, немощные, святые старцы, что сегодня на паперти Лазаря тянули?»

«Старостой артели был у них старец Иван, жилистый, косая сажень мужик. И видел он, как в четыре глаза не увидишь, отродясь слепым не был. А как итти на базар иль к церкви,

отойдет в сторонку, поднимет левой рукой с глаза кожицу да по красному месту и начнет иглой стрекать. Она глаза и сведет ему. Всех слепее кажет. А к вечеру, когда плясать либо деньги считать надо, отпускало его — опять зрячий.

«Старцам доход да жизнь привольная, а мне от них тычки и пинки. Денег, что обещали по уговору, я и копейки не видел. А чуть промолвишься об этом, сейчас грозить: «У нас-де артель богатая, все за тебя отдадим становому, купим станового, чтоб тебя на козле растянул и выпорол».

«Молод я был и боялся. Так целый год шатался с ними, а потом невмоготу стало. Решил я бросить старцев. А тут и случай подошел. Добрались мы до Ирбита, к самой ярмарке подгадали. Прибрело туда нищих артели три, кроме нашей. Сшиблись так, что либо всем в одну слаживаться, либо которая уходи вон, — всем будет тесно. Одну артель так и выдавили — ушла. Сильнее нашей деньгами была одна — сибирская. Поладил с ней Иван-староста на ведре вина, чтобы петь не вместе, а сидеть друг от дружки дальше. Им — обедни, нам заутрени очищать. А третью к сибирскому тракту оттерли, на выезде пела.

«Вот и начали мы свои представления делать. Старцы деньги гребут, а мне хоть бы полушку. Опротивели они мне вконец. Раз целую ночь думал я напролет, а встал и решил: бегу от них. Повел я с ночлега старцев к заутрене. Иван глаза свои наколол — слепым стал. А дорога нам через реку пролегала. И уговор такой был: коли вскричу: «вода» — всем раздеваться, вброд, значит, итти. Привел я их к забору, а там крапивы целый лес. Я кричу: «вода!» Они портки поснимали, рубахи вверх задирают. Я их в самую крапиву завел, батожок из рук выпустил и — бежать. Отбежал недалеко, смотрю и от смеху помираю: крутятся старцы в крапиве, жгутся, меня кличут. Ругань подняли, а потом в толкотне со злости друг дружку батогами лупить начали. Я до конца дожидаться не стал — пошел наутек.

«Плохо было со старцами, но одному научили: людей до нутра видеть да жить на ветру. Тут голос у меня открылся — с них пошло. Стал мне голос заместо друга. Как тоска душу зажмет, я сейчас петь. Пою, пою, и замечаю: легче душе делается, будто птицей летит душа.

«Недели три бродил по лесам и деревням. И набрел на находку. Лежат на опушке пятеро молодцов. У двоих на рожах клейма. Догадался я сразу: беглые. Сначала бросились было на меня, а потом по-хорошему. И прибился я к ним. Да недолго

гуляли мы. На третий аль на пятый день брели мы проселком. Видим — мужики толпой с кольями и вилами, прямо на нас: «Вяжи, орут, зажигателей».

«Когда такое дело, нечего раздумывать, а хватай что под рукой, обороняйся. Мужичков вдвое больше. Сшиблись мы, ругань, вой, на три сажени землю вокруг вытоптали. Но одолели они нас, хоть и не даром: двое мужичков лежать остались, — один мой крестник.

«Веревками так нас скрутили, словно боялись, чтоб мы не расклеились. Волокут меня связанного, кровь на рубахе и другая улика: нож, что отняли, когда вязали, тоже в крови.

«Сидим в остроге, и выходит нам каторга. А до каторги кнут. Затосковал я да и рассказал арестантам про себя всю подноготную: кто я и откуда. А они мне: «Ну, тебе горевать нечего. Скажешься, кто ты впрямь есть, и кнута по закону минуешь».

«Я и объявился чиновничьим сыном. Навели справки: так точно. Сказал мне про это прокурор да и обругал при этом: «И чего ты, дурак, свою жизнь сломал, от родителей сбег. Товарищ твой, что лаптой зашиб, жив-живехонек, отлежался тогда за бревнами и посейчас здравствует. А вот мужичок твой, которого ножом полоснул, уж на погосте. И за мужика этого тебе каторга».

«Кнутом меня не били, и пошел я на каторгу неклейменным. И с той поры не могу выбиться из каторжного звания. В бегах не раз был, а за побег новую прибавку получаю. Со счету сбился, сколько мне еще годов кандалы носить».

— А что, — спросил Тарас, — говорят, у тебя такая песня есть, что на волю зовет.

Соловей печально усмехнулся.

— Песня? Песня есть такая... Одна утеха мне — песни петь. За голос меня и Соловьем прозвали. А лучше всего пою одну любимую, от сердца идет. И уж знаю: как спел ее — бегу. Боюсь ее петь, терплю до последнего.

— Какая ж это песня? — спросил Тарас.

— Горькая песня. Про соколика...

## 3

Орская принарядилась. На шлагбауме и караульных будках лоснились свежие полосы черной и белой краски. Главная улица крепости была выровнена и убита щебнем. Перед крыльцом офицерского собрания посыпали желтым песоч-

ком. В казармах с нар и с пола содрали песком давнюю грязь и протерли тусклые стекла окон.

Подготовка к приезду дивизионного генерала коснулась даже каторжного каземата. Комендант распорядился покрыть параши деревянными крышками, а гарнизонному цырюльнику вышел приказ: заново обрить полголовы у тех арестантов, у коих эта половина сильно заросла.

Солдаты начистили кирпичом пуговицы мундира и набелили мелом амуничные ремни.

Комендант несколько раз собирал офицеров и строго внушал привести все в порядок к приезду генерала. Особенно налегал он на то, чтобы солдат имел веселый вид, чтобы рожа и пуговицы у него, как выразился комендант, сияли.

Самим же господам офицерам комендант предложил воздержаться на это время от некоторых привычек.

— Мне, господа, не хотелось лишний раз упоминать об этом, но вынужден: пить не запрещаю, но требую — в меру, — при этом комендант многозначительно задержался взглядом на капитане Тюкине. Лысый низкорослый капитан смущенно замигал красноватыми веками.

Больше всех в крепости волновались, однако, полковые дамы. Они тщательно готовились к предстоящему балу, который намеревались дать в честь приезда начальника офицеры гарнизона. Было известно, что генерал холост и моложав, а адъютант его — писаный красавец.

Наконец долгожданный день наступил.

Крашеный пол зальца офицерского собрания трясся от мазурки. Колебались в настенных подсвечниках огоньки свечей.

Поручик Берендеев выпил в буфете уже шесть рюмок коньяку. Поручик в этот вечер пытался быть и Онегиным и Печориным, но успеха не имел. Олимпиада Семеновна, жена командира четвертой роты, явно предпочла ему красавца адъютанта.

Буфетный солдат вновь наполнил рюмку поручика.

Кто-то взял Берендеева за талию, — это был капитан Тюкин.

— Слезы горькие льет молодец на свой бархатный кафтан... Брось, Вася, — продолжал Тюкин, — суть не в любви, а в том, что перед нами. Тимофеев, аршин...

Буфетчик проворно выставил в ряд восемь рюмок и налил их водкой. Капитан одну за другой опрокинул рюмки в рот.

— А теперь... — Он зажмурил глаза и, вытянув руку, пошевелил пальцами.

Буфетчик поставил перед капитаном тарелку с крошечным кусочком хлеба. Тюкин понюхал кусочек и аккуратно положил его на тарелку.

— Жан, не увлекайся!

Капитан недовольно обернулся. В дверях буфетной стояла его жена Аглая Петровна. В рыжеватом шиньоне дамы дрожало жидкое эспри.

— Сегодня ты мог бы, — сказала она подошедшему капитану, и красное мясистое лицо ее стало злым, — воздержаться. Ты забыл, что должен произвести на генерала впечатление, — добавила она внятным шопотом.

— Я готов, милочка, — сказал покорно капитан и неуверенным шагом направился в зал.

В зале составлялись пары для котильона, последнего танца перед ужином.

У стены уныло стоял Берендеев. Адъютант генерала вел в первой паре розовую от удовольствия Олимпиаду Семеновну. Берендеев с ненавистью смотрел на шпоры и аксельбанты своего счастливого соперника. Из карточной комнаты показался окруженный офицерами генерал.

Ужин близился к концу. Денщики в белых нитяных перчатках внесли разноцветное желе. Дрожащие башни кушанья были увенчаны зажженными свечками.

Генерал сидел во главе стола. Справа и слева рядом с ним поместились жена коменданта и Аглая Петровна. Сам комендант, глядя на размягченное вином, ужином и соседством сорокалетних цирцей лицо генерала, постепенно обретал душевное равновесие. Оно было утрачено днем при осмотре крепости и цейхгаузов.

Комендант силился представить этого любезного толстяка багровым от гнева, топающим ногами и грозящим всяческими карами. Но ничего не выходило. Как будто не сам он несколько часов назад стоял перед этим человеком, чувствуя дрожь в коленях и холод в животе.

Комендант для чего-то вытер руки салфеткой и, поймав взгляд генерала, привстал.

— Ваше превосходительство! Древние герои имели обыкновение услаждать принятие пищи пением и музыкой. Музыка у нас есть, — комендант кивнул в угол, где за тесно

составленными пюпитрами жались солдаты-музыканты с медными трубами и огромным турецким барабаном, — о пении же разрешите позаботиться мне.

— Петь? Это кто же будет петь? Вы? — генерал захохотал.

За столом почтительно улыбались. Козлиный голос коменданта был известен всей крепости.

— Не я, ваше превосходительство, — комендант сделал вид, что едва сдерживает смех, — а соловей, настоящий соловей!

— Соловей? А разве вы птицелов? — Генерал был заметно пьян.

— Как же, ваше превосходительство, держу птичек в клетке, одна, прямо скажу, замечательная. Каторжник, ваше превосходительство, но — артист. Голос как у Орфея. Разрешите ввести?

— Если это не обеспокоит дам. А я, что ж, я согласен послушать соловья.

Комендант подозвал вестового и шепнул ему несколько слов.

Успех коменданта окрылил капитана Тюкина.

— Соловей это что, ваше превосходительство, а вот у меня в роте действительно штучка. Политический, из хохлов. Был в Петербурге живописцем, а теперь в солдаты с выслугой сдан. Разрешите распорядиться, ваше превосходительство, призвать этого Шевченка, чтобы тут же он снял с вас портрет.

Все зааплодировали. Капитан победительно посмотрел на свою жену. Она довольно кивала эспри.

— Я готов, — сказал генерал, разглаживая пушистые усы.

Соловей вошел и остановился у притолоки. Конвоир остался за дверью.

Каторжанин стоял спокойно под устремленными на него любопытными взглядами.

— Вот, ваше превосходительство, Соловей, сейчас послушаем, — сказал комендант. — Ну-ка, братец, — он подошел к каторжанину, — сейчас ты станешь петь. Споешь «Соколика».

Соловей шагнул от двери. Брякнули кандалы.

— Ваше высокородие, — сказал он коменданту, — прикажите другую, не эту. Нельзя мне эту петь, сами знаете.

— Это что, убежишь-то? У меня, братец, не убежишь. . .

— Убегу, ваше высокородие, если пропою ее.

— И петь будешь и в крепости останешься, — сказал

комендант угрожающе. — А за разговоры эти, — он понизил голос, — сразу же отсюда в карцер. Понял?

Генерал, удивленно приподняв брови, слушал объяснения соседок. Дамы наперебой рассказывали ему историю Соловья.

— Что ж это, полковник, — насмешливо сказал генерал, — арестанты у вас песней о своем побеге объявляют?

— Отличнейшим образом будет петь, ваше превосходительство. Дурацкую фантазию забрал себе в голову. Пой, тебе говорят, — повторил комендант Соловью, — у меня не убежишь.

— Пущай мне печенку отобьют совсем, — сказал Соловей, бледнея, — я опять побегу, пущай мне ноги изломают, я на руках побегу. Лес по мне стонать станет, пташки не запоют. После этой песни Соловью быть на воле. Но, коли приказываете, спою. Только уж за себя я не ответчик.

В дверях появилась неуклюжая фигура Шевченко.

— Явился по приказанию, ваше высокородие.

— Обожди.

Тарас встретился взглядом с Соловьем. Каторжанин усмехнулся, откашлялся в руку и запел:

**Бывало у соколика времечко:**
**Летал-то сокол высокóхонько,**
**Высокóхонько летал по поднéбесью,**
**Уж-то бил он, побивал гусей-лебедей,**
**Гусей-лебедей, уток серых.**

Слушал Тарас песню, забыв об окружающем. Сильному, мягкому баритону певца было тесно под низким потолком комнаты. Звуки волнами бились о стены, рвались на простор.

Певец не видел сидящих за столом. На бледном лице Соловья выступил легкий румянец, темные большие глаза лучились.

**А ноне соколу время нету:**
**Сидит-то сокол во поймани,**
**Во той во тесной клеточке,**
**За острожными воротами, за крепкими,**
**Резвы его ноженьки во опýточках.**

Чувствуя себя как во сне, Тарас все ближе и ближе подходил к каторжнику. Его тянуло увидеть лицо певца. Так, незаметно, оказался он между столом и Соловьем, закрыв его своей широкой спиной от генерала.

Глаза коменданта испуганно забегали, ища вестового. Угрожающим шопотом он что-то приказал неслышно подбежавшему солдату.

Тарас вдруг почувствовал, как две сильные руки взяли его сзади за плечи и повлекли в угол к музыкантам.

— Ты чего, дурень, пьяный, что ли? — сказал солдат. — Забыл, что не в казармах? — И солдат, оставив Тараса, снова вслушался в песню. — Хорошо поет парень, — прошептал он размягченно.

Соловей кончил. Плечи его сразу устало опустились, недавний румянец сбежал с лица, и оно стало попрежнему бледным.

В комнате зашумели.

— Отлично спел, братец, — сказал генерал. — Будь ты солдатом, к себе песельником взял бы. Вот тебе. — И генерал протянул серебряный рубль.

Рубль прошел по рукам сидящих за столом, и последний, поручик Берендеев, не глядя, сунул его Соловью.

Монета упала, звякнув, и покатилась по полу.

— Не надо мне награды, ваше превосходительство, не для вас, — для себя пел. Вот побегу, да поймаете, — тогда и награждайте.

Комендант вскочил, взбешенный дерзостью каторжника, но генерал остановил его.

— Что ж, братец, все-таки бежать хочешь? — сказал он насмешливо.

— Хочу — не хочу, а надо. «Соколика» спел...

— Ну, довольно, — нахмурился генерал.

Соловья увели.

Генерал барабанил толстыми пальцами по скатерти.

— Ваше превосходительство, живописец явился. Разрешите ему приступить, — прервал неловкое молчание капитан Тюкин.

— Какой живописец? Ах, да. Не знаю, стоит ли... — Раздражение генерала еще не прошло.

— Стоит, ваше превосходительство. И принадлежности все для портрета готовы, — засуетился комендант, что совсем не шло к его представительной фигуре.

На маленьком закусочном столике, освобожденном от рюмок и тарелок, лежал большой лист картона и толстый итальянский карандаш.

Тут только комендант объяснил Тарасу, что от него требовалось.

В первую минуту Тарас остро почувствовал непреодолимое желание схватить карандаш и провести хотя бы несколько штрихов по гладкой поверхности картона, но сразу подавил в себе это желание. Чувство ненависти и унижения теснило грудь.

— Как сесть прикажешь, любезный? — спросил генерал, улыбаясь и оглядываясь на соседок.

— Не трудитесь, ваше превосходительство, я не стану рисовать портрет.

Все изумленно переглянулись. Комендант остолбенел. Толстая шея генерала начала багроветь.

— Не имею права по сентенции суда писать стихи и рисовать, ваше превосходительство. Об этом хорошо известно здешнему начальству.

Генерал, недоумевая, взглянул на коменданта. Комендант отвел глаза.

— Ну, хорошо, братец. Похвально, что ты точно соблюдаешь запрещение, — сдерживая закипавший гнев, сказал генерал. — Но сейчас разрешаю тебе я.

— Судебная сентенция касательно меня имеет апробацию государя императора, и разве можно нарушать высочайшую волю? — со скрытой иронией сказал Тарас.

Генерала передернуло.

— Ступай вон, — рявкнул генерал, забыв о присутствии дам. — Вон!

Комендант был близок к обмороку.

## 4

Соловей бежал ночью.

Комендант, поднятый на рассвете с постели вестовым, злобно ругался в кордегардии. У стоящего перед ним фельдфебеля сбегала по подбородку струйка крови. Казачий урядник с двумя казаками спешно был наряжен в погоню.

В лучшей комнате комендантского дома генерал мирно спал, не подозревая о событии. Комендант отдал строжайший приказ производить поиски без огласки, чтобы слух о побеге Соловья не дошел до генеральских ушей.

Вернувшись домой, комендант на цыпочках прошел мимо комнаты генерала в кабинет и долго там отводил душу, ругая себя старым дураком. Теперь он горько раскаивался, что вчера пригласил генерала на охоту с беркутом, по-киргизски. На целый воскресный день задержится генерал в крепости,

изволь скрывать, выкручиваться, если спросит про этого чорта — Соловья. «Ну, попадись только, запоешь у меня» — яростно шептал комендант и крепко сжимал кулаки.

Тарас с Ильясом осторожно пробрались за валами крепости в степь. Они молча шли вдоль берега тощей реки Ори, там, где она сливается с быстрым Уралом. По берегу тянулась невысокая каменная гряда, правая сторона ее полого спускалась в степь.

«Где-то теперь скрывается Соловей? Поймают, — стучало в мозгу. — Куда тут убежишь от них?» «За острожными воротами, за крепкими, резвы его ноженьки во опуточках» — вчерашняя песня каторжника не выходила из головы.

Но тайная надежда, что на этот раз Соловей навсегда вырвался на волю, постепенно рассеивала тревожные мысли. Тарас шел и лукаво усмехался в толстые висячие усы, вспоминая вчерашний случай с генералом.

Ильяс весело шагал рядом. Мальчика распирали впечатления от событий сегодняшней ночи. Он успел уже побывать возле карцера, потолкаться среди солдат и узнать все подробности побега. Ему не терпелось поделиться этим с Тарасом. Он сорвал с головы войлочный тумак и шел, размахивая им в такт шагу.

— Видел, бачка, я там: стоит сардарь, ругается, всех ругает — и Соловья и солдат. Потом на карачки встал, — Ильяс звонко засмеялся, — и головой полез в нору. Как лиса полез. Соловей прокопал эту нору и в степь ушел. Ловить его послали казаков. Разъехались в разные стороны. Кто поймает,— сардарь награду даст. Да Соловей — удалец, не поймать.

Вдруг на лице мальчика отразилось беспокойство.

— Поймают, бачка, тогда что?

— Тогда плохо ему будет, Ильяс.

— Убьют его, — уверенно сказал мальчик. — Сардарь шибко сердит.

Зной заливал степь, она казалась подернутой дымкой. Бескопечное пространство красно-желтой земли, с торчавшей кое-где выжженной травой и мелким голым кустарником, наводило уныние. Далеко на горизонте показалось облачко пыли. Это шел бухарский караван на верблюдах. Только этот маленький клубочек пыли и оживлял мертвую пустыню.

Путники дошли до склона небольшой отлогой горы и сели на плоский, нагретый солнцем, камень.

— Ты ничего не видел, Ильяс, кроме этой мертвой тоскливой степи. А есть на свете такие степи, которые, как помутским

ковром, покрыты сочной зеленой травой и цветами. Разными цветами, Ильяс: лиловыми гиацинтами, красными и желтыми маками, розовыми пионами. А вечером, когда на землю упадет синяя ночь и над степью загорятся золотые звезды, как дышит эта степь! — Тарас откинулся к скале и глубоко вздохнул. — Пахнет она шалфеем, мятой, каждый цветок источает свой сладкий, нежный запах. Богаты те степи, Ильяс. Здесь только суслики пищат, да беркута клекот слышится, а в тех степях и птицы разной и зверя видимо-невидимо. А земля какая! Черная она, тучная, и растет на ней золотая пшеница. Белые домики тонут там в вишневых садах...

Тарас спохватился.

— Ты не понимаешь меня, Ильяс, ты ведь ничего этого не видел. Я сейчас покажу тебе.

Тарас, таинственно подмигнув Ильясу, достал из-за пазухи небольшой плоский ящичек и помятый лист бумаги.

— Не велят мне рисовать, — сказал он с хитрыми искорками в глазах, — да никто здесь не увидит Сбегай-ка к реке, Ильяс, зачерпни воды.

Ильяс проворно достал из торбы, висевшей у него на боку под халатом, жестяную кружку и сбежал к реке. Назад мальчик поднимался медленно, боясь споткнуться и расплескать воду.

Тарас положил бумагу на плоский камень, раскрыл ящичек. Там были краски и несколько тонких кисточек.

Он работал с увлечением.

Белые хаты, окруженные зелеными садами, колодезь с высоким журавлем, деревенская улица, и на ней волы, запряженные в телегу, рядом с телегой сивоусый дед в расшитой рубахе, с трубкой в зубах. На всем этом отсветы заходящего солнца.

Ильяс, прикусив язык и сопя, смотрел через плечо художника на бумагу. Тарас вытянул руку с рисунком и, прищурив глаза, рассматривал его.

— Вот моя Украина, Ильяс.

Мальчик впился глазами в картинку. Потом с наивным страхом взглянул на Тараса и потрогал ящичек с красками.

— Здесь я жил, — с грустью сказал Тарас. — И кажется мне, что никогда уж больше там не бывать. На, возьми себе, Ильяс, только спрячь хорошенько, чтоб никто не видал, а то худо мне будет.

Ильяс торопливо схватил листок, еще раз полюбовался картинкой и спрятал ее в шапку.

— У отца сундучок красный, серебряная уздечка там, туда положу картинку. Пусть лежит. Когда уйдешь от нас, — смотреть на нее буду. А вырасту, сяду на коня, возьму кумыс,— бурдюк большой, курута возьму, лепешки возьму и поеду. На картинку смотреть буду. День еду, три еду, год еду, а приеду туда, что на картинке. И ты там будешь, бачка. Скажешь: «Иди в мою кибитку, Ильяс, гостем будь».

Радостно вскочив, Ильяс волчком завертелся на месте. Вдруг он остановился, вглядываясь в степь.

— Едут, бачка, — испуганно сказал маленький киргиз.

Тарас вышел из-за скалы.

По направлению к ним ехала охота. Копыта лошадей поднимали бурую пыль. Она поднималась вверх, пронизанная солнечными лучами, поблескивали эполеты офицеров. Рядом с генералом ехал комендант. Впереди кавалькады на сером тонконогом иноходце сидел в высоком деревянном седле пожилой киргиз в полосатом халате и рысьем малахае. К яркокрасной луке седла был прикреплен невысокий деревянный шест с вогнутой перекладиной. Правая рука всадника в толстой кожаной рукавице лежала на перекладине. Большой чернобурый беркут с пепельным хвостом сидел неподвижно, как изваяние. Его железные когти впились в рукавицу охотника. Голова птицы была плотно закрыта темным колпачком.

Тарас схватил мальчика за руку.

— Бежим, Ильяс, скорее, — тревожно сказал он.

Они бросились в узкий проход. Пробежав шагов пятьдесят, свернули направо к реке. Под ногами шуршала, осыпаясь, галька. Они перевели дыхание и торопливо пошли по низу, у самой воды. За каменным выступом мальчик вдруг остановился.

— Смотри, бачка, — указал он пальцем на глубокую впадину в скале, заросшую сухим кустарником.

Тарас всмотрелся. Серая куртка виднелась сквозь кусты. Осторожно раздвинув их, они увидели спящего человека.

Это был Соловей. Тут же на земле валялись кандалы и большой острый камень.

Чуткий сон беглеца оборвался в ту же минуту. При виде солдатской рубахи Соловей вскочил и схватил камень.

— Не бойся, это я, — сказал Тарас.

Соловей улыбнулся, сильно затряс руку Тараса.

— Как это я задремал? Сморило. Этак недолго обратно в каземат сесть.

Он все улыбался, рассматривая пришельцев.

— Что, Тарас Григорьевич? По песенке вышло. Ушел Соловей!

— А как схватят? Урядник с казаками с рассвета в погоню наряжены. А сейчас здесь в степи охота для генерала, с беркутом на лисицу выехали. Все начальство при нем. Едва ушли мы, прямо на нас наехали. А ты под самой крепостью хоронишься.

— Выждать надо, отлежаться. Самое верное дело — далеко сразу не уходить. Это тебе каждый чалдон скажет.

От стени донесся неясный шум. Соловей раздвинул кусты, прислушался.

— Беркута спускают, — пробормотал он. — Хоть бы чорт их дальше унес отсюда.

В двух шагах от убежища Соловья гряда круто обрывалась в седловину и открывала вид на степь. Все поползли к краю седловины.

Киргиз на иноходце выскакал вперед. Осадив коня на полном скаку, он издал резкий гортанный крик и сдернул колпачок с головы беркута. Птица, ослепленная светом, несколько раз повела клювом из стороны в сторону и вдруг, сорвавшись с рукавицы охотника, взмыла к небу. Всадник крутился на одном месте, задрав вверх редкую жесткую бородку, и непрерывно гикал. Беркут, распластав сильные крылья, несколько мгновений неподвижно висел в воздухе и вдруг камнем ринулся вниз.

Крик лисицы, похожий на плач ребенка, хлопанье тяжелых крыльев доносились из клубка густой пыли на месте борьбы. Рассвирепевший от голода беркут долбил клювом голову зверя.

Кавалькада охотников, растянувшись цепочкой, скакала к добыче.

— Поди, привал здесь сделают теперь. Чтоб им пусто было, — сказал с досадой и тревогой Соловей.

Ильяс, переводя взгляд с Тараса на Соловья, что-то напряженно решал про себя.

— Сейчас, бачка, уедут далеко, — Ильяс махнул рукой в степь. — Отец ведет охоту. — Он быстро вскочил с земли.

— Куда ты? — успел только сказать Тарас, но мальчик уже бежал к седловине.

Через минуту фигурка Ильяса цветным клубочком катилась по степи к охотникам.

Генерал, наклонясь с седла, с любопытством рассматривал мертвого зверя. Острая морда лисы была залита кровью, оба

глаза вырваны, на темени зияла черная рана. Киргиз привычно и ловко снимал шкуру. Потом острым широким ножом отсек заднюю лапу лисицы. Беркут, хлопая крыльями, прыгал по земле. Он беспокойно косил круглым желтым глазом на красную тушу, хищно раскрывая клюв. Киргиз бросил птице кусок, и она начала рвать его когтями, глубоко погружая клюв в дымящееся кровавое мясо.

Растянув в улыбке сухие тонкие губы, киргиз протянул генералу шкуру лисицы. Генерал достал из широких шаровар длинный замшевый кошелек, порылся в нем и бросил киргизу две серебряные монеты.

Ильяс дернул отца за полу халата. Мальчик быстро заговорил по-киргизски. Охотник, казалось, равнодушно слушал сына, что-то коротко ответил ему и подошел к лошади.

Лицо киргиза было бесстрастно.

— Ваше превосходительство, — почтительно сказал комендант, поворачиваясь в седле, — не угодно ли ознаменовать удачу маленьким привалом. Завтрак под открытым небом.

— Пожалуй, — ответил генерал, внезапно ощутив голод.

— Нельзя привал, ехать надо, зверя много. Там зверь лежит, — киргиз плетью указал в степь на восток. Не ожидая ответа, он с места шибко тронул коня.

Генерал пожал плечами и с улыбкой сказал коменданту:

— Ну, на охоте он хозяин. Придется попоститься.

Охота пошла дальше.

— Молодец, Ильяс, — Соловей хлопнул киргизенка по плечу. — Выручил.

Ильяс рылся в торбе. Он достал несколько лепешек, кусок баранины.

— Бери, бачка, есть будешь, — сказал он смущенно.

— Спасибо, Ильяс, дружок ты хороший. Спасибо. — Голодный Соловей жадно начал есть.

Маленький киргиз поднял разбитые кандалы.

— Крепко заклепаны были, еле сбил. Может, последний день таскал, — сказал Соловей с загоревшейся в глазах надеждой. — Ну, Тарас Григорьевич, легко не дамся, драться буду, как волк зубами вгрызусь, чтоб не таскать больше их, проклятых.

И Соловей, широко размахнувшись, бросил кандалы в реку.

Глухой голос Тараса прерывался от волнения:

— Был ты мне чужой, Соловей, а сейчас, как о брате, о тебе сердце болит. И страшно за тебя и радуюсь, будто сам на волю вышел. Родной ты мне стал, словно век я тебя знаю.

Тарас порывисто обнял каторжника и крепко поцеловал.

— Пойдем, Ильяс, прощайся.

У киргизенка текли слезы, когда Соловей молча гладил его по голове.

## 5

Трое суток рыскали казаки по степи в поисках Соловья.

Уверенность коменданта, что Соловей будет пойман, поколебалась. Ничего не было сказано генералу о сбежавшем, не был до сих пор отослан и формальный рапорт. Это уже было серьезным проступком по службе.

Комендант в страхе и ярости по нескольку раз на дню уходил за вал крепости. Приложив ладонь ребром к глазам, он долго вглядывался в степь. Мертвенная тишина не нарушалась ни одним звуком. Медным пятном на дымном небе стояло солнце.

Сжимая кулаки, комендант грозился вдаль.

Но на четвертый день побега, вечером, когда в крепости рожок пропел зорю и батальон был выстроен на маленькой площади, стоявший на левом фланге первой шеренги Тарас увидел Соловья.

Каторжник, часто спотыкаясь, шел между лошадей двух верховых казаков. Руки у него были связаны ременным очкуром, конец которого был замотан за луку седла казака. Истомленное лицо Соловья было в кровоподтеках, серая куртка висела клочьями. Соловей едва передвигал ноги. Было видно, что вели его издалека. Сзади, покачиваясь в седле, ехал плотный урядник. Рыжая борода лопатой лежала на широкой груди, украшенной тремя медалями.

Сердце Тараса упало. Озноб холодной струйкой пробежал по спине.

Мелко рассыпалась дробь барабана. Дежурный по гарнизону поручик Берендеев, натуживаясь до синевы в лице, скомандовал:

— Смирно! На молитву! Шапки долой!

Выверенным однообразным движением руки солдаты обнажили головы.

Конные казаки с беглецом завернули за угол казармы.

В серых сумерках фигуры и лица людей были едва различимы. Казарма с маленькими квадратными окнами, прорубленными под потолком, тройным ярусом нар, с узкими между ними проходами, со столбами, гладкими, словно отполированными на тех местах, где висела амуниция, совершенно походила на соседний каземат каторжников.

Под низким потолком помещения было душно. Солдаты сидели и лежали на нарах. В разных углах слышался говор и храп. Молодой солдат соскочил с верхних нар и, сонно попатываясь, подошел к ведру с водой. Зачерпнув ковшом, он долго и жадно пил. У тускло горевшего почника сидел на табуретке унтер и выщербленной бритвой водил по намыленному подбородку. Крохотный осколок зеркала был прислонен к манерке.

Опираясь спиной на столб, Тарас примостился на краю нар. Казалось, он внимательно слушает свесившегося сверху пожилого солдата. Но Тарас ничего не слышал. Глаза его были устремлены в одну точку, руки брошены на колени. Тяжелая, неотвязная мысль ворочалась в мозгу.

— Забьют парня. Это как пить дать, — говорил солдат хриповатым голосом. — Отпел свое Соловей. Теперь одна ему воля — погост. Что кнут, что палка — все едино: кончина ему. Так-то, Тарас Григорьич.

Солдату, видимо, что-то хотелось рассказать.

— Это тебе в новинку, а мы насмотрелись.

Тарас не отвечал. Солдат приподнялся на локте и, погасив о столб цыгарку, сплюнул на пол.

— В Оренбурге, помню, наказывали одного беглого кнутом. А палач был знаменитый на всю Сибирь, Бархатов по фамилии. Так из города в город его и возили, где его ремесло требуется. Уважение ему от начальства всякое: и одежа, и деньги, и вино, — пей — не хочу. Не жизнь, а гулянка. Вот и к нам привезли Бархатова в Оренбург. Зимой дело было, в самые морозы. Стояли мы в оцеплении на Торговой площади. Только еще светать начало, а народу довольно набежало. Известно — любопытство.

«Поставили кобылу, а тут палач в розвальнях подъехал. Вылез, в санях порылся, достал полштоф да кнут. Скинул полушубок. Гляжу — парень здоровый, хоть ростом и не так велик, да в плечах широк. Вырядился, что на праздник, — рубаха на нем новая, красная, штаны плисовые, сапоги с напуском.

«Тут рубаху с того сдернули и на кобылу повалили. Голову сердешному в прорезь на конце загнали и ремнями прикрутили,

а руки под доской связали, будто он кобылу обнимает. Ноги тоже спутали. Никуда не податься, — что доска, что человек — одно.

«Пощупал Бархатов узлы, хорошо ли завязаны. Вынул полштоф из кармана, хлебнул и на снег в сторонку поставил. Потом отошел шагов на пятнадцать и без спешки, гуляючи, к кобыле идет. Кнут плетеный, аршина в три, между ног по снегу волочит. Остановился недалечко от кобылы, как размахнется, — весь назад завалился, — и рубанул. Только кнут свистнул да красная стежка наискосок от плеча по спине обозначилась. Охнул каторжный А Бархатов через левую ладонь кнут пропустил и полную горсть крови на снег стряхнул.

«И что ни ударит Бархатов, на пятнадцать шагов отходит, — дорожку по снегу протоптал. Идет, не торопится, ногу за ногу цепляет. Это, чтобы мука дольше тянулась. Ты подумай, Тарас Григорьевич, ведь сто один кнут каторжному был определен. Даст он разов десяток и к штофу прикладывается. Сперва бил крест-накрест с правого плеча по ребрам, потом слева направо, а уж после вдоль и поперек полосовать начал. И что крови с кнута спустил, весь снег вкруг кобылы зачервонел.

«Тот-то сначала кричал, потом обмер. Тут поп с доктором к нему приступили. Доктор из баночки нюхать сует, чтоб в чувство вернуть, а поп — на тот случай, ежели человек отходит, душу принять. И каждый раз, как затихнет горемычный, знаку жизни не подает, поп с доктором к нему. А как за полста ударов перевалило, так за палачом они и ходили.

«Спина у того вся вздулась, кожи ни клочка, чисто мясо рубленое.

«За полдень с кобылы недвижимого сняли, а к ночи и помер. Вот и Соловью того не миновать».

Тарас уже давно напряженно слушал солдата. И все время лицо Соловья, его большие печальные глаза стояли перед ним. Казалось, он слышит крик, видит кровь. И не рассказчик-солдат, а он, Тарас, стоит в оцеплении, и на кобыле Соловей, а не тот неизвестный оренбургский острожник.

— Глядеть один страх, — сказал солдат, почесывая густую бакенбарду. — А каково самому бить! Палачу — что, не привыкать стать. А как самого поставят с батальоном в шеренгу, в руку палку дадут и бить прикажут? Вот мы с тобой сидим тут, Соловья жалеем. А завтра этого Соловья до-смерти забьем. Потому, как начальство определит: либо кнут, либо палки. Верней всего, палки, — нас заставят. Откуда палача враз достанешь?

— Что ты говоришь? Как можно? — Тарас испуганно вскочил. — Вот этими руками убить несчастного! — Он невольно поднял ладони к лицу солдата.

— Все можно. Что положит начальство, так оно и будет. Поставят нас рядышком с тобой, и попробуй тогда по Соловью промахнуться. Сама палка поднимется. Потому, Тарас Григорьевич, солдатами, — не своей волей живем.

Не было дня, не было часа, чтобы Тарас не думал о своей неволе, но сейчас, после простых и жестких слов солдата, до боли в сердце, до головокружения он измерил всю глубину своего рабства. Его могли сделать даже палачом.

Но через минуту он забыл о себе. Снова всеми мыслями завладел Соловей, и ужас охватил Тараса.

— А ты ложись-ка лучше, Тарас Григорьевич, — сказал солдат. — Выбрось Соловья из головы, легче будет так-то. Тут думай, не думай, а все едино... — Солдат не договорил и, бормоча что-то, стал укладываться спать.

Решение пришло сразу. Тарас машинально застегнул мундир и, не отвечая на недоуменный вопрос солдата, выбежал из казармы.



Было десять часов вечера, но в крепости царила тишина. Только из-под горы, от Татарской слободки, изредка доносился лай собак, да с крепостных вышек, похожих на скворешники, раздавалось обычное протяжное: «Слушай — послушивай!» Плац в темноте как будто увеличился в размере. Освещенные окна офицерского собрания казались бесконечно далекими Тарас удивился, когда, прошагав минут пять, очутился уже в полосе света. Окна собрания были раскрыты настежь. Слышался стук бильярдных шаров и говор, — офицеры, без мундиров, в белых и цветных рубашках, с киями ходили вокруг бильярда.

Неожиданно распахнулась дверь черного крыльца, выбросив в темноту струю света. Кухонный солдат осторожно сошел с крыльца с ведром помоев.

Тарас снова нырнул в темноту, поднялся по улице в гору и очутился перед домом коменданта.

Плотный частокол окружал небольшой дом, замыкая в своем кольце чахлый садик и задний двор.

Только подойдя к самой калитке, Тарас почувствовал, как

стучало его сердце. Весь риск и безрассудность затеи стали ясны ему в эту минуту. В окнах домика было темно, только в крайнем угловом из-под плотной занавески пробивалась узкая полоска света. Тарас знал, что это свет в кабинете коменданта. Стало быть, полковник был дома и еще не спал.

Колебания разом оставили Тараса. Он поднял щеколду и вошел, скрипнув калиткой, во двор. Густой лай привязанной к яблоне собаки заставил его вздрогнуть. В темноте, натыкаясь на деревья, он обошел дом и поднялся на кухонное крыльцо.

При свете сальной свечи денщик чистил сапоги коменданта. Солдат стоял на одном колене с надетым по локоть на руку сапогом. Он удивленно обернулся на Тараса.

— Доложи его высокоблагородию, что по самонужнейшему делу — рядовой Шевченко.

Минуты через две Тарас услышал сквозь неплотно закрытую дверь кухни резкий голос коменданта: «Введи!».

По узкому коридору, через небольшую темную столовую Тарас прошел вслед за денщиком в кабинет. Он остановился в дверях.

У столика, на котором шумно кипел томпаковый самовар, стоял в бухарском халате спиной к дверям комендант. Он сыпал чай из небольшой железной коробочки в белый чайник с разводами. Приятный запах заваренного чая разлился по комнате. Хороший китайский чай был слабостью коменданта. Знакомые купцы из Кяхты доставляли ему особые дорогие сорта.

Тарас смотрел на цветной халат и старательно подбирал первые слова разговора.

Полковник обернулся. Раскрытый спереди халат обнажил густо заросшую волосами грудь.

— По какому делу, любезный? — Вне службы комендант позволял себе вспоминать, что Шевченко не просто солдат, а петербургский живописец, образованный человек, хотя и государственный преступник.

Приготовленные заранее слова выскочили из головы Тараса. Необыкновенное волнение перехватило горло, заставило отхлынуть кровь. Лицо его побледнело.

— Ваше высокоблагородие... — сказал он и остановился.

— Ну, ну, говори...—Комендант тонкой струйкой цедил в объемистую чашку душистый чай и, расширяя ноздри, вдыхал аромат.

— Я по делу... Я за Соловья пришел просить вас. За несчастного человека. Ведь смерть ему теперь, если вы... За что смерть? За то, что волю любит, за то, что душа по воле плачет. И не так виноват Соловей, — заговорил он торопливее, увидя, как сердито повернулся на стуле комендант.— Не так виноват, ваше высокоблагородие. Он несчастный человек.. И он сказал вам, что не может после той песни... Не может, спев ее, совладать с собой. Как болезнь это. Он просил не заставлять его петь. Вас просил. Простите несчастного!

Тарас невольно ступил шаг вперед. Он задыхался.

Постепенно нижняя губа полковника все больше и больше вытягивалась, мешки под глазами набухли. Это было признаком того, что полковник пришел в дурное расположение духа. Он резко передвинул на столе вазу с имбирем Заговорил тихо.

— Так, так, братец. Значит, не виноват ни в чем преступник. Агнец безвинный. Законы государственные, императором утвержденные, стало быть, дурны, безвинных осуждают. Стало быть, так? — спросил полковник.

Тарас молчал.

— Тарас Шевченко, преступник государственный, — полковнику нравилась значительность этого слова,— стало быть, тоже безвинно осужден? Так?

— Я не за себя говорю, ваше высокоблагородие. Я наказан по вине своей. Но Соловей... Он умрет под палками...

Полковник поднес чашку к губам, сморщился и выплеснул остывший чай в полоскательницу.

— Ты что же это, советы давать мне пришел? Забыл, кто ты? Только по великой царской милости не носишь кандалов. Бунтовщик, оскорбивший его величество гнусными виршами.

Комендант вскочил со стула, запахивая халат.

— Снисходя к образованности, я щадил тебя, выделял из прочих. Спустил тебе и дерзкую выходку в присутствии его превосходительства. Тебе этого мало, на равной ноге захотел быть? Отвечай, ты рядовой или нет?

Тарасу показалось, что полковник сейчас его ударит.

— Отвечай, я спрашиваю!

— Рядовой.

— Так марш в казарму! Скажешь фельдфебелю, чтоб поставил тебя под ружье. С полной выкладкой. За непонимание воинской дисциплины. За дерзость твою!

Решение суда о Соловье было получено в крепости уже под осень.

Тарас узнал об этом в тот же день от писаря, собственноручно передавшего коменданту большой серый конверт с пятью темными сургучными печатями. Целый месяц Тарас, ожидая этого решения, прожил в гнетущей тоске. Он знал, что взбешенный полковник аттестует Соловья как закоренелого злодея и бунтовщика.

Тарас не выходил уже вместе с Ильясом за вал крепости, и маленький киргиз напрасно звал его, часто простаивая долгие часы у казармы. Кроме как на батальонные учения, Тарас почти не покидал казармы. Он неподвижно лежал в каком-то оцепенении, не сводя глаз с низкого потолка. Мысль, что Соловей будет забит до-смерти шпицрутенами, что согласно подтверждали опытные солдаты, окончательно замучила его. Ему начинало казаться, что это решение в одинаковой степени касается и Соловья, и его, Тараса.

Но если Тарас томился, ожидая приговора над Соловьем, и не было дня, чтобы он не представлял себе страшной картины казни, то сам Соловей совсем не думал об ожидавшей его участи. Не то, что он надеялся на милость суда, нет, он знал, что милости ему ждать нечего, но просто он не мог думать о приговоре. В первые дни после поимки он всячески отгонял мысль о наказании, но скоро такие мысли перестали приходить к нему. Это не было беспечностью или покорностью судьбе. Если бы Соловей мог представить себе так же ярко, как Тарас, свой конец, он не нашел бы себе места. Но в каземате и крепости шла обычная повседневная жизнь. Там где-то решалась его судьба, а здесь, как и прежде, Соловей на рассвете шел вместе со всеми каторжанами на работу. С работы возвращался в каземат на обед, хлебал жидкое варево из бачка, опуская туда свою ложку в очередь с пятью другими каторжанами. Так же злобствовал и огрызался на всех горбун Король, так же балагурил, скаля свои белые крепкие зубы, молодой конокрад Яшка.

Вечером каторжный люд, усталый после целого дня работы, запирали в каземат. И здесь было не до мыслей. Соловей, как в яму, проваливался в сон.

Ни разу никто из каторжан не заговорил при Соловье о том, что неминуемо его ждет. Этого требовал неписаный закон каторги. Острожники часто жестоко дрались, напо-

сили иногда друг другу тяжелые увечья, но если на кого-нибудь из них обрушивалась кара властей, то все, без исключения, старались уберечь его от приступов тоски.

Они не лезли с утешениями, не растравляли сердца. Они держались так, как будто человеку ничего не грозило страшного. И Соловей, действительно, забывал о том, что ему предстояло.

Все изменилось, как только Соловью стал известен приговор суда: две тысячи палок. Он понял: это верная и мучительная смерть. И сразу тоска сковала его. Соловей вдруг почувствовал себя совершенно одиноким, мертвым среди живых. То, что до сих пор спасало его, вдруг стало чужим, посторонним, далеким. Теперь ни на минуту, ни днем, ни бессонной ночью, Соловей не мог забыть эту страшную цифру: 2000 Он заранее переживал боль от ударов, разрывающих кожу и мускулы спины, ломающих ребра. И когда он, измученный, погружался в дремоту, то видел один и тот же сон: огромная площадь, сплошь утыканная гладкими палками, среди которых он заблудился и никак не может найти выход.

Все каторжники заметили оцепенение Соловья. Они понимали, что это значит. На каторге о таком человеке говорили, что он «задумался».

Каторжные кончали работу, когда Ильяс пробрался в каменоломню. Несколько человек, вытянувшись неровной цепочкой по уступам, отбивали кирками горную породу. Другие, выполнившие дневной урок, сидели кучками над рекой.

Был пасмурный осенний день, и холодный ветер рябил темную воду реки.

Ильяс подошел к Соловью. Он лежал на спине в стороне от других и смотрел на тяжелые низкие тучи, обложившие небо. Киргизенок, присев на корточки, тронул Соловья за плечо. Соловей не пошевелился, а только медленно перевел безразличный взгляд на мальчика.

— К тебе беда пришла, бачка, большая беда. Уходить от нее надо. Слушай, я придумал. Ты храбрый батырь, никого не боишься. Убегай. У отца есть конь. У самого богача Джумбая нет такого в табуне. У... у.. конь, — киргизенок плотно зажмурил глаза, и большой рот его растянулся в улыбке, — ветер, беркут не настигнет. Я просить буду, отец даст. Он хвалил тебя, говорил: ты батырь и ашуг, совсем киргиз. Убегай, бачка.

Соловей усмехнулся.

— Спасибо, Ильяс. Только как я до коня доберусь? Крепко стеречь меня стали. Нет, уж мне теперь от моей беды не уйти.

Киргизёнок вскочил, огляпулся на конвойного солдата и снова присел на корточки.

— Тебя бить будут, до-смерти. Бачка Тарас сказал. Он все о тебе думает, жалеет тебя.

— Жалеет, говоришь?

— Жалеет, бачка. Есть перестал, мне отдает. Три, пять дней, много дней не ходил со мной в степь. Стану звать, а он мне: «Не могу, Ильяс». А потом про тебя все говорит. Песню твою вспоминает. Говорит, говорит, ляжет на нары и плачет.

Соловей медленно поднялся на ноги. Он положил руки на плечи Ильясу.

— Передай Тарасу, чтоб приходил с тобой, как стемнеет, к каземату под окна и слушал. Прощаться с вами буду.

Конвойный унтер закричал, чтобы строились в ряды. Соловей отошел от мальчика.

— Так приведи Тараса, — сказал он, обернувшись.

## 8

Каторжане очистили середину каземата и разместились на нарах. Только девять человек, выбранные Соловьем, остались в широком проходе между нар. Они скинули обувь и босиком стали строиться на земляном полу. Соловей расставлял их цепочкой. Каждый стоящий сзади положил руки на плечи переднему. Вереницу замыкал Король. Низкорослый горбун не мог дотянуться до плеч товарища и держался за полы его куртки.

Тогда, заняв место впереди цепочки, Соловей поднял руку.

В каземате стало совершенно тихо. И если на нарах кто-нибудь, не сдержавшись, заглушенно кашлял, несколько пар глаз сердито обращались на него.

Звон прозвучал слитно, аккордом. Одни, в цепочке, поднимали ноги и медленно опускали их на пол, другие бросали их сильно, рывком. Цепочка шла вперед. Звон кандалов ширился, заполнял весь каземат.

Это был знаменитый кандальный марш.

Кандалы рассказывали жадно слушавшим с нар людям страшную повесть.

---

«В белой мгле пропадает дорога.

По бокам, занесенные снегом, на чахлых лошадках солдаты конвоя. Сотни две каторжан, не в шеренгах, а сбитые в кучу, наклоняясь вперед (ветер режет лицо), кандалами звенят. Лед корою покрыл кандалы. Пусть не в силах шагать онемевшие ноги, пусть от холода сердце застыло в груди, но отстать не дадут: опалит, как огнем, через куртку плечо, резко свистнув, нагайка. Много верст позади, впереди их несчитанных сколько. У Владимирки этой нет, говорят, и конца.

В белой мгле пропадает дорога. . .

Не расскажешь словами о муках.

Днем ли, ночью — тоска неразлучна с душой. Не избудешь ее, на этапном дворе не оставишь. Арестантская куртка с тузом на спине, чисто выбрили голову, ноги сковали железом. Каторжанином сделался ты, а недавно лишь был человеком.

Не расскажешь словами о муках. . .

До могилы носить кандалы.

И жену и детей позабыл, свое имя оставил в острогах. Только их не забудешь, — звоном напомнят. Лес шумит, и река по каменьям струится. Много нор у зверей по тайге. Вольным зверем бы стать, обернуться хоть волком, хоть тигром — и уйти по таежным тропам. Но звенят кандалы, не уйдешь никуда, только с мертвого снимут железо.

До могилы носить кандалы. . .»

---

Цепочка людей медленно двигалась по казематy.

Яша, с замершей улыбкой, склонил голову набок, и руки его, лежавшие на плечах Соловья, то сжимали, то отпускали эти плечи. У скул Соловья горели красные пятна. На лбу выступил бисерный пот. Не мигая, глаза смотрели вперед.

Звуки то, нарастая, походили на лязг, то утихали до нежного звона. Цепочка останавливалась неподвижно, только Король едва заметным движением заставлял тихо звенеть свои кандалы. И сразу раздавался металлический грохот, — гремела бурная музыка.

На всех ярусах нар давно уже слышались тяжелые вздохи, отрывистые восклицания.

У крайнего столба, наверху, сидел, свесив ноги и придерживая кандалы, старик. На его восковых щеках и лбу страшно выделялись синие каторжные клейма. Он весь подался вперед, напряженно вслушиваясь в марш.

Неожиданно протяжный рыдающий крик заглушил звон кандалов. Старик трясся всем телом, запрокидываясь назад. В ту же минуту сидевший рядом каторжник, словно обожженный криком, метнулся к старику и, опрокинув его, навалился на грудь. Молча возясь над ним, он подстилкой из толстой дерюги затыкал ему рот. Старик хрипел.

Цепочка была в двух шагах от двери, когда загремел засов и дверь распахнулась.

Поручик Берендеев остановился на пороге. Из-за спины офицера виднелись штыки солдат.

Соловей, смотря прямо в лицо поручику, в такт другим ударял ногой. Потом сделал шаг назад, тесня Яшку. И вся цепочка, не поворачивая, стала медленно отступать от дверей.

На середине каземата Соловей поднял руку и резко опустил ее. Звон кандалов оборвался, цепочка рассыпалась.

Офицер и солдаты подошли к Соловью.

Соловей все понял. Медленно поворачивая голову, он обвел потухшим взглядом нары.

— Конец, братцы. Не поминайте лихом.

Долгую минуту стояла тишина. И сразу со всех ярусов нар обрушились крики и вой. Каторжники, гремя кандалами, спрыгивали на пол, и пустой до этого проход наполнился толпой. Поручик неожиданно увидел себя в плотном кольце изуродованных клеймами лиц.

Ближе всех, почти вплотную к офицеру, очутился Король. Запрокинув голову, горбун выкрикивал дикие ругательства, и желтая пена пузырилась у него на губах.

Поручик растерялся. Беспомощно оглядываясь и не видя оттертых толпой от Соловья солдат, он пятился от наседавшего на него горбуна, но и сзади ревела стена каторжан.

— Не надо, братцы, — негромко сказал Соловей, и, несмотря на рев и крики, его услышали. — Мой ответ, и один я держать его буду.

Он, сутулясь, пошел с конвойными к дверям по проходу между расступившимися каторжниками.

На пороге Соловей обернулся.

— Прощайте, братцы.

И шагнул через порог.

Они стояли под высоким окном каземата, когда загремел кандальный марш. Через раскрытое, забранное решеткой окно долетал каждый звук.

Никогда прежде не слышал Тарас музыки страшнее и понятнее этой. Он знал теперь, что это прощается с ним Соловей.

Киргизенок прижался лицом к серому сукну шинели Тараса. Тарас обнял мальчика. В пяти саженях от них у входа в каземат скрипел на столбе фонарь, раскачиваясь от ветра, и по земле плавало неровное пятно света.

Кандалы неумолкаемо звенели.

Казалось Тарасу, что нет на земле уголка, куда бы не долетел этот звон.

Когда поручик с конвойными прошли в каземат, Тарас понял: завтра казнь. Эта ночь — последняя для Соловья. Крики и рев сменили музыку, потом все стихло. Распахнулась дверь. Поручик быстро сбежал по ступеням крыльца. Следом за ним показались Соловей и солдаты.

— Бачка Тарас, пойдем туда, Соловья ведут, пойдем к нему! — закричал Ильяс.

Но Тарас стоял неподвижно. Вдруг он повернулся и, пошатываясь, торопливо пошел прочь.

Киргизенок, всхлипывая, побежал за Соловьем и конвойными.

*Павел Евстафьев*

# ТАРАС

*(Этюд)*

И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте, вспомяните
Добрым, тихим словом.

*Т. Шевченко.*

Здесь Васильевский остров утрачивал свою строгость. Номера линий обрывались на цифре «23», дальше шли Косая линия, улицы обычных названий, пустыри, гавань.

Доски деревянных мостков были мокры. Утром прошел шумный веселый дождь. Через заборы свисали полураспустившиеся ветки сирени. На плотных зеленых сердцах листьев блестели капельки дождя.

Случилась забавная история. Коренастый человек с висячими седыми усами застрял каблуком в широкой щели мостков. Держась за плечо своей спутницы — тоненькой девочки, человек несколько мгновений поворачивал ногу, стараясь освободить каблук. Потом, смеясь, внимательно оглядел его со всех сторон. Девочка без умолку говорила и время от времени озабоченно спрашивала:

— Вы не устали, Тарас Григорьевич?

Может быть только сейчас, в это весеннее утро, идя рядом с милой хрупкой девочкой, Шевченко почувствовал всю радость возвращения. Это не он совсем недавно, один, не замечая гряд, ходил по огороду, натыкался на пугало с растопыренными руками. Это не он ждал свистка парохода из туманной дали.

Эти десять лет были агонией, когда жил он только во сне и только во сне был самим собой, художником, поэтом,

творцом. Обрывался короткий солдатский сон, и снова казарма, храпящие на парах люди, дежурный с тесаком у масляной лампы в углу. Сколько раз, просыпаясь, смотрел он в низкий потолок с тем томительным и сладким чувством, что когда-то вот здесь, на Васильевском острове, заставляло его, не зажигая огня, при лунном свете набрасывать итальянским карандашом на картон фигуры людей, деревья, небо. Потому и была радость полной в это утро, что шел он по Васильевскому острову. Рядом шла девочка. И на листьях сирени были капельки дождя.

Он не вошел в дом после прогулки. Девочка скрылась за дверью, а он направился к набережной.

Они смотрели друг на друга своими каменными продолговатыми глазами в изрытые тысячелетиями лица, звери с головами и торсами женщин. Вплотную к гранитной набережной стояла низкая широкая барка, груженная кирпичом. Оборванец в картузе с высокой тульей сидел на корме, свертывал цыгарку. Шхуна с подобранными к стеньгам парусами покачивалась на мелкой легкой волне. Три чухонских лайбы с дровами шли под косыми парусами вверх по Неве. Пузатые ялики сновали от одного берега к другому.

На фронтоне Академии надпись: «Свободным художествам». Много лет назад он уверенно входил в эти двери с папкой подмышкой. И пыльным петербургским июлем, и в ноябре, когда гремели выстрелы с верков крепости, с моря дул штормовой ветер, вздымая плащи редких прохожих, и тусклые масляные фонари бросали блики на мокрые плиты набережной. Дождь сек лицо, и там, в Пятой линии острова, так приятно было снять мокрый плащ и шляпу и долго потом, под вой и свист ветра, под дребезжание оконного стекла, думать, мечтать и покрывать листы бумаги короткими строчками стихов. А то, что не воплощалось сразу в слово, дорисовывать на полях быстрым и верным штрихом.

Гулко отдаются шаги в высоких прохладных коридорах Академии.

Идет второй час работы в натурном классе. Тарас сидит у окна. Голубоватая вена на голени: берлинская лазурь и белила. Молодое лицо художника бледно после недавней болезни, на щеках резко темнеют узкие бачки. Тарас пишет,

не глядя на сухие, жилистые ноги натурщика. Потом, опустив кисть, смотрит ему в лицо.

Старый Варфоломей спал. Сидя на возвышении, опираясь на длинный библейский посох с загнутым концом, в полосатом балахоне древнего еврея, он заснул в заданной позе, и сон изменил ее.

Это не был патриарх Иаков среди стад (овцы будут дописаны после), — это был просто старый Варфоломей, у которого, вероятно, болят ноги, а по ночам грудь разрывает долгий старческий кашель.

Не библия здесь, не тема академическая, а другое. Синее небо родной Украины, отлогий берег Днепра, весь изрытый копытцами тонконогих овец, запах тютюна из старой люльки, увешанной пуговицами, улыбка беззубого рта седого пастуха и длинный бесконечный рассказ о давнем: острые сабли запорожцев, красные их жупаны, буйное веселье, громкие победы, груды панских тел заносчивых ляхов.

Как укротить мечту, как обуздать думу, как научить свой глаз видеть только то, что перед ним? Вот рядом соседи — Михайлов и Гуревнин. От точки до точки старательно копируют тело — голень, колено, стопа, три желтых ремня сандалий. Все верно и точно.

А у него не то: нет патриарха Иакова. Перед глазами возникает приднепровский пастух, живой, тот самый, с которым мальчишкой-подпаском делил он арбуз и сгонял разбредавшихся овец.

И руки послушны воспоминанию. Сейчас в губах патриарха появится люлька, и взовьется легкий дымок. Прищурится глаз под седой колючей бровью, вот точно так, когда говорил он: «Ну, хлопец, послухай о давнем».

Но он не подпасок Тарас, он ученик Академии, художник, созидатель. И все-таки нет патриарха. На возвышении сидит старый Варфоломей. Опустеют классы, коридоры, и Варфоломей уберется в свою сторожку. Там, за помятым медным самоваром долго будет сидеть один, цедить жидкий чай.

Кем только не был Варфоломей! Иаковом и Саулом, Иовом на гноище с черепком в руках; Лотом и пророком Ильей и богом был Варфоломей, богом Саваофом в сонме ангелов.

В правом нижнем углу картин имена. Много имен славных художников, бездарных копировщиков, счастливцев и неудачников. Всем служил Варфоломей, часами сидя на возвышении в любой одежде, в любой позе, а потом шел в свою каморку.

Написать бы его в сторожке за медным самоваром, и подпись к картине «Одинокая старость».

Жизнь коротка, и хочется в красках, стихах говорить о том, что вокруг.

Но точен устав Академии свободных искусств, и твердо его соблюдает Брюллов. Библия, Греция, Рим. Разве мало сюжетов, разве мало фигур, и все они совершенны.

И вот — посох Иакова, овцы и ноги в сандалиях. Будет картина на тему: «Патриарх среди стад».

Ширяев — серьезный хозяин. Главное, чтобы ученик не баловался, в церковь ходил, работал без отверту и хозяина слушался.

Большая артель у Ширяева — десять маляров, и за каждым нужен глаз. А сейчас особенно: не вывески малюет для Сенной — быков, капусту и кренделя, а декорации в Большом театре.

У Тараса золотые руки, да на язык стал дерзок. Как будто и не крепостной, не оброчный.

Господ художников Ширяев не слишком уважал. Картины писать — это, правда, ихнее дело, да все это больше на забаву похоже. Если дал тебе бог талант, то ты его в землю не зарывай, а пускай в оборот Много их ходит, художников, в чем душа держится, худые, хлипкие, штаны на них бахрома подсекла, башмаки — заплата на заплате.

Ширяев таланта в землю не зарыл, вот он, талант, от отца, деда и прадеда унаследованный. Посчитай вывески на Васильевском острове, — все ширяевские, редко чужую найдешь, на весь Петербург знаменита артель Петра Ширяева.

Конечно иных художников и в теплые страны посылают, медали дают, да толку-то что, — пустые затеи.

Который раз пристает господин Сошенко, художник Академии. Зашел как-то в театр и начал беспокоить: «Отпусти да отпусти Тараса». Сначала на праздники, а потом и в будни, — учить, видишь, его вздумал. «Пустое это дело, господин Сошенко, Тарас есть крепостной человек, и я его барину поручился довести до точки по малярному делу. А я своему слову хозяин. Куда ему в Академию. — баловство это одно и погибель».

В конце концов уступил Ширяев, но присматривал за учеником зорко.

Все произошло неожиданно.

Карлу Брюллову захотелось поехать в театр. Он сидел у Сошенко, — любил Брюллов посещать своих учеников, — сидел, пил золотое вино из узкого бокала, и вдруг — в театр!

Внезапная изменчивость настроения, порой просто каприз были в натуре великого художника.

— Пошлите-ка, дорогой друг, за билетами этого вашего, как его... Шевченко.

И Тарас, не чуя ног, зажав крепко в ладони деньги, выбежал на улицу.

Тонкие, нервные пальцы отбросили уже третий лист, на четвертом Брюллов задержался. Он вгляделся, потом откинулся, прищурив светлый глаз, так что пушистый кончик рыжеватого уса поднялся кверху.

Ничего не сказал Брюллов, он положил и четвертый лист, аккуратно по краям выровнял бумагу. Снова отпил вина и, задумчиво рассматривая бокал, сказал тихо:

— О вашем ученике, дорогой мой, следует хорошенько подумать.

В целом мире не было у Тараса человека, кто бы подумал о нем. Были родные, братья, приятели-маляры, но никому не было дела до Тараса. Где тут было думать о других: каждый сам бился в неволе.

А сегодня, в этот февральский вечер, когда так мело по линиям Васильевского острова, когда на набережной, как в поле, крутила метель и одиночество было особенно тяжелым, прославленный художник, гениальный мастер задумался о судьбе крепостного, о судьбе его — оброчного маляра Тараса.

Карл Павлович Брюллов, утонченный и вежливый, как принц, в иные минуты умел выражаться крепко. Может быть причиной была именно утонченность художника, столкнувшаяся с грубым расчетом. Карл Павлович имел все права на резкость, и он был резок.

Дело было не в интонациях голоса помещика Энгельгардта, не в выражении его барски-самоуверенного лица, — дело было в споре о праве на искусство. Брюллову все было ясно: этот крепостной жил вовсе не для того, чтобы малевать вывески и, по барскому приказу, бесчисленную вереницу любовниц помещика.

И Карл Брюллов решил: он сам вырвет его из рабства. Он попросил Сошенко сходить к Энгельгардту.

Из разговора ничего не вышло. Энгельгардт, усмехаясь, посмотрел на Сошенко и неожиданно заговорил о постройке нового гумна и о своей мучительной почечуйной болезни.

Дома Карл ходил по кабинету и бросал сидевшему в кресле Сошенко отрывистые фразы. Гнев художника был беспределен.

— Вандализм! Это самая крупная свинья в торжковских туфлях, но Шевченко мы все-таки вырвем. Попросите Венецианова сходить к этой амфибии. Пусть скажет, сколько он хочет...

Тарас пошел за хорошую цену, он был дорогим товаром.

— Две тысячи пятьсот рублей, — сказал Энгельгардт, захлопывая крышку эмалевой табакерки. — Две тысячи пятьсот, он человек ремесленный, при доме необходимый.

Жуковский терпеливо позировал.

Никогда, может быть, Карл Брюллов не работал с таким вдохновением. Гнев водил его рукой. Это был азарт, была битва. Последний мазок и крупная подпись: «Карл Брюллов» — были сделаны стремительно, все той же гневной магической рукой.

Деньги для Энгельгардта были готовы — две тысячи пятьсот рублей.

Ровно пять минут — срок, необходимый для объявления вещи, цены и трех ударов молотка аукциониста. Портрет перешел в руки покупателя.

Тарас был куплен не за две тысячи пятьсот, — он был куплен ценой искусства.

Враг смотров, султанов, конных множеств,
Он идет, отравленный уже,
К пыльной Академии художеств,
К тюфяку на пятом этаже.

*Вс. Рождественский.*

Высокие шкафы красного дерева с бронзовыми украшениями стояли вдоль стен. За стеклами тускло мерцали золотом корешки переплетов.

Карл Павлович был сегодня в духе. Худощавая фигура совсем утонула в глубоком кресле, обитом тисненым сафьяном. Ударяя по узкой, почти женской ладони разрезным но-

жом, он говорил не о Рафаэле и Леонардо да Винчи, как третьего дня, а, что редко случалось с ним, говорил о себе.

Тарас слушал и внимательно смотрел на лицо учителя. Неподвижное пламя трех свечей в высоком бронзовом канделябре ложилось мягким отблеском на рыжеватые волнистые волосы Брюллова.

Это бледное тонкое лицо, изящную эспаньолку, пушистые усы, прямой нервный нос и светлые глаза бретонца Тарас видел на полотнах Ван-Дейка. Нежную белизну шеи резко оттенял открытый воротник черной бархатной куртки. Рукава были подвернуты, обнажая лиловую шелковую подкладку, и от этого узкая кисть руки казалась еще длиннее и уже.

Неожиданно для себя Тарас решился.

Учитель мог счесть вопрос дерзким, но сегодня ночью в этом кабинете было как-то особенно интимно. Мягкий баритон учителя звучал задушевнее, чем всегда. И потом Брюллов сегодня так много говорил о себе, о поисках совершенного типа, о прекрасном человеческом теле, о своих итальянских эскизах. Может быть такой вечер никогда не повторится, и Тарас решился. Он привстал с кресла и глухим, чужим голосом спросил:

— Я давно хотел узнать, Карл Павлович. Давно хотел спросить о вашей «Гибели Помпеи»... Совершенное создание искусства... — Тарас сложил руки, как для молитвы. — Не посчитайте дерзостью...

Брюллов удивленно смотрел на своего ученика. Таким он никогда не видел этого малоросса. И вдруг почувствовал, что сейчас, именно сейчас, этот робкий, неуклюжий человек скажет что-то очень важное и неожиданное. Он откинулся на высокую спинку кресла.

— Там тела в вашей Помпее, безупречные тела, — живые и мертвые. Но ведь это не то... Все рушится, каменный дождь идет. А где же кровь, Карл Павлович? Ведь ни одной раны, ни одной царапины на телах. Чистые, прекрасные, нетронутые. Женщина с младенцем. Она спит, а вовсе не убита. Кровь где? Ведь камни падают, камни!..

У Тараса перехватило дыхание.

Разрезной нож остановился в воздухе и не опустился на ладонь. Брюллов, не торопясь, положил его на стол.

— Кровь? Вам нужна кровь? — В голосе художника прозвучало сожаление. — Вам нужно вложить персты в язвы, как Фоме? Убедиться в смерти? Нужны признаки ее? Искусство не в том, мой друг. — Брюллов неожиданно встал, отш-

рались костяшками пальцев на лаковый стол. — Искусство не в том, мой друг, — повторил он, — чтобы видеть и осязать лежащее перед нами. Сила художника, смысл его жизни, натура его — показать природу вещей, невидимое сделать видимым: в совершенной красоте — тлен и разрушение и красоту — в трупе. Не надо кровавых ран, синяков и разбитых голов. Это безобразно, а потому не трогает. Потрясает другое: женщина, за минуту полная жизни и страсти,— мертва. Падают камни. Не будем разрушать красоту. Прекрасное тело, обезображенное кровоподтеками, уже не прекрасно. Не содрогнется зритель, ему не жаль безобразного. И гибель Помпеи под лавой и пеплом, под грудами камней потому до сих пор приводит нас в ужас, что помним мы лупанарии, термы, храмы, видим белый солнечный город. И плачем о гибели его.

— Я видел, Карл Павлович, — Тарас в волнении обошел круглый стол и подошел вплотную к Брюллову. — Я видел и запомнил: багровые рубцы на спине и кровь на лопнувшей коже. И выдумаете, — сейчас голос Тараса звучал дерзко, — что это избитое тело было не красиво, не совершенно. Кузнец Энгельгардта, первый богатырь на селе, подковы гнул... Бицепсы шарами ходят. А мышцы спины — хоть анатомию изучай. И вот эта спина — кровавая каша. Кнут — страшное дело. Ведь я сам крепостным был. И вот пишу я, копирую бессмертных, а сам думаю: не мадонны и херувимы, а вот этот человек, избитый и уничтоженный, достоин запечатления.

Тарас не замечал, что Брюллов нетерпеливо мял пальцами золотистую эспаньолку. Казалось, Тарас отстранит сейчас Брюллова рукой, как досадное препятствие.

— Ведь напиши я его здоровым и сильным, кто же заметит страдание? А ведь страдание народа, Карл Павлович, это истинное его состояние у нас. Зритель должен видеть кровь на могучем теле, поругание его видеть. Художник призван не ласкать взоры, исторгать слезы умиления, а учить любить, верить и ненавидеть...

Тарас на мгновение увидел себя в зеркале, в темном углу кабинета. Выступая из темноты, блестящая поверхность отразила лимонные язычки трех свечей, удвоила их, растерянное лицо и задернутый коленкором подрамник.

— Искусство не совместимо с ненавистью. Это низменное чувство, оно недостойно в художнике, — спокойно и высокомерно уронил Брюллов.

— Но ведь искусство всеобъемлюще. Все человеческие

страсти и чувства доступны воплощению и в красках, и в камне, и в слове, — торопливо сказал Тарас.

Брюллов опустился в кресло. Он был утомлен неожиданным диалогом. Слова Тараса поразили его своей простотой и ясностью. Разумеется, юноша мало еще смыслит в высоком искусстве, и не ему ниспровергать истины, что живут в полотнах бессмертных художников, но все-таки, так прямо обличать, подвергать сомнению... Этот неофит колеблет треножник, разрушает до сих пор неприкосновенное, говорит, что все достойно изображения, все окрашено, все живет. Какое обилие сюжетов! Но разве это искусство?

Когда Тарас выходил из кабинета учителя, держа подмышкой две книги Вальтер Скотта, Брюллов, провожая его до дверей, сказал задумчиво:

— Сила таланта — в новых его путях, но куда бы ни шел художник, ведомый своим гением, он должен всегда обращать свои взоры на неугасимые маяки вечного искусства, дабы не сбиваться с пути.

— Карл Павлович, не знаю, может ошибаюсь я, но кажется мне, что правда искусства и жизни правда — это одно. Неразделимы они...

На улице было пусто. Шаги Тараса по каменным плитам тротуара гулко отдавались в ночной тишине.

На эти годы надо было смотреть, как на солнце, прищурив глаза. На эти ослепительные, яркие девять лет.

В чудесный апрельский день, когда по Неве шли белой бесконечной эскадрой ладожские льдины и по небу плыли розоватые весенние облака, — в тот день кончилось его рабство. Но что казалось таким ясным, о чем так часто и подолгу думал Тарас, теперь бушевало в его сердце и мозгу каким-то сплетением чувств и мыслей, и ничего нельзя было разобрать. Хотелось говорить много и горячо, но он молчал, отделываясь от собеседников совсем незначащими, обычными словами. По ночам он брался за перо, но стихов не было.

Радость разлилась как весеннее половодье, затопляя все, изменяя привычные контуры предметов, искажая пейзаж. Надо найти было русло для этой радости, чтобы она, войдя в берега, стремительно помчала его жизнь вперед.

Но вот сердце стало биться ровнее, ослепительный свет, резавший глаза, смягчился светотенями, и, как никогда прежде, мир стал отчетливо виден.

Тиковый халат малярного ученика, еще вчера бывший одеждой, теперь стал реликвией.

Лунная дорожка пересекала широкую реку от стен крепости к узорной решетке сада. Над замком задушенного Павла стоял месяц. Белые тела богинь, фавнов, купидонов казались вовлеченными в игру лунного света и густой листвы. Изменялись позы, в мимике оживали лица.

Звонко на дальнем проспекте процокали копыта, и снова все стихло. Пустынный сад стал больше, как будто в нем пролегли новые дорожки, возникающие лишь под белым ночным небом.

Здесь сходились аллеи. Мраморные изваяния образовали круг.

Не изменчивый Вертумн, не его пленительная супруга Помона, перебирающая пальцами распущенные волосы, опираясь на шест, увитый виноградной лозой, не гордое лицо Ахилла пленили воображение Тараса.

Высокий старик с головой, повязанной куском материи, в ниспадающей одежде, с длинными сухощавыми ногами держал в руках младенца и прижимал его пухлое тело к губам. Казалось, ничего зловещего не было в этой группе. Ее можно было бы назвать «Поцелуй старика». Но ребенок кричал. Запрокинув головку, перекосив рот, он бился в струящейся бороде старика. А глаза старца, спокойные и важные, смотрели в небо. И в этом был ужас.

Сатурн пожирал младенца.

Уже легли на картон контуры фигуры, уверенными штрихами обозначились мышцы впалого живота. Голова в повязке, пальцы, впившиеся в тело младенца, и сам он, изогнутый, с раскинутыми ножками и сведенной рукой, были схвачены верно и живо.

Много потом было полотен, эскизов, но никогда сердце Тараса не сжималось так томительно и сладко, как здесь, белой петербургской ночью, в Летнем саду. Не раз в самые тяжелые минуты всплывали в памяти Сатурн, широкая аллея, черная решетка сада и он сам с картоном в руках среди екатерининских дубов, мрамора, в тишине ночи.

Жандармский офицер белыми пальцами с отпущенными ногтями перебирает плотные листы голубоватой бумаги, вынимает их из папки один за другим: «Сон», «Лилея», «Осика». Стихи, вдохновенные строки. В них боль, ненависть и в них же любовь, теплая большая любовь. Жандарм читает вслух, с трудом произнося непривычные украинские слова. Значи-

тельно поднятый кверху палец невольно отмечает ритм стиха:

... Вот и сам он,
Высокий, сердитый,
Выступает. А с ним рядом
Тоненькая женка,
Долгоногая, худее
Сохлого опенка.....
. . . . . .
. . . . . .
Ни гу-гу... Лишь царь болтает,
А диво-царица,
Словно цапля в стае птичьей,
Скачет, молодится.

Стихи — свидетели, беспощадные своей ясностью и силой. Но сейчас, измученный допросами, поэт забыл вдруг, что это уже не стихи, а казенный документ, улика точная, неопровержимая.

Неожиданно, блестя глазами, досадливо поправил он офицера: жандарм ошибся в ударении.

Потом — рисунки. Наброски карандашом и пером. И так во-время, чтобы поддержать душевную силу Тараса, вспомнились Летний сад, Сатурн, белая ночь. И даже не вспомнились, а возникли в самом сердце, и оно стало биться ровнее.

Что нужно этому человеку в пышных подусниках, каких признаний и правды? Ведь вот она, эта правда, на столе, в папке за номером. Самая чистая, великая правда. И никакой протокол не выразит ее сильнее. Народ дал ему талант, и он, Тарас, стал голосом и зрением народа. Так что же искать в этих стихах и рисунках, как не мук, скорби и скованной силы народа?

Это была только прогулка по дорогим сердцу линиям и проспектам Васильевского острова, прогулка неторопливым шагом. Но усталость была огромной.

Он знал — никогда не избавиться ему от этой усталости. Она, как шрам, как воспоминание, всегда будет с ним. Не больное сердце причиной, не возраст; он не старик. Но не сбросить тяжести. Она приросла к плечам, сгибает спину, заставляет дрожать ноги. Мелкие оскорбления, как моллюски днище корабля, облепили его сердце. И поздно искать тихой бухты. Не спять, не соскоблить моллюсков, никогда ход корабля не станет легким.

Одиннадцать лет, мучительных и страшных, не сбросить, как плащ, не оставить в передней, как палку.

«Запретить рисовать и писать» — страшнее нельзя было выдумать казни. Но — пусть без карандаша, бумаги, палитры — он творил, стихи звучали в груди, перед глазами стояли готовые до последнего мазка картины. Он научился создавать и беречь их в памяти.

Голубь с красными лапками сел на карниз Академии, повозился немного, затих.

У коновязи во дворе Орской казармы рассыпан овес. Куры клюют зерна на потрескавшейся от зноя земле. Из дверей конюшни вышел черный козел с большими крутыми рогами и пегой бородой. Он идет к солдату в белом балахоне. Солдат моет командирскую бричку. И, бросив работу, он дразнит козла.

Так было вчера, так будет завтра. Даже люди и животные здесь неизменны в движениях, неизменны до неподвижности. Как столбы коновязи, часовой у ворот, как маленькие оконца под самой крышей конюшни.

Сменялись времена года, солнечный зной и оренбургская снежная вьюга. Неизменными были дробь барабана и багровые спины солдат под шпицрутенами. Вечно зеленой была страшная улица солдатской жизни. Свистели шпицрутены, бил барабан, избитое тело влеклось, привязанное за руки к прикладам.

Он сделал несколько шагов вдоль здания и вдруг усмехнулся в седые усы. Архитектура, линии прямые, кривые и ломаные. Геометрия зданий. И все сведено в одно целое.

Ломаной была линия его жизни. Но, наперекор Эвклиду, из нее возникла окружность.

Вот здесь исходная точка. Тут, у этого здания, начата жизнь. Потом были изломы, острые и тупые углы. И снова к началу, круг замкнут.

Человек живет одну жизнь, а он и в этом нарушил закон: ему даны две жизни. Одиннадцать лет назад окончилась первая, сейчас наступила вторая.

Вдруг закружилась голова, учащенно забилось сердце. Тарас бессильно прислонился к стене, нагретой весенним солнцем.

И сразу понял: кончена жизнь, второй не будет. Склон, остаток дней, бессилие, ранняя старость. Он прошел все круги дантова ада, и теперь ни один жандарм не решился

бы повторить резолюцию: «Как одаренного крепким телосложением определить рядовым».

Пусть отняли здоровье, молодость, отняли жизнь. Умрет Тарас Шевченко. И, может быть, скоро это случится. Но разве смертью кончится жизнь Тараса?

Будут петь...

Синеглазая Маруся в короне черных кос; чумаки на ночевке под телегой с поднятыми к небу оглоблями; слепой кобзарь на киевской ярмарке в плотном кольце обступившего его люда.

Будут петь...

Мать над колыбелью ребенка; косари среди безбрежного степного моря колеблемого ветром ковыля; парубки на вечерницах; солдаты на походе.

Будут петь...

В рыбачьих дубах на широком Днепре; на завалинках белых хат родной Украины; в селениях и городах.

И для тяжкого горя, труда и страданий, и для радости светлых надежд — оставил он песню.

И сердце свое в этой неумолкаемой песне.

*Вл. Боцяновски*

# ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ

## 1

Поезд в Петербург отходил из Москвы в два часа дня, но Шевченко заторопился уже с самого утра. Забрав свою «мизерию», как он называл багаж, уехал из дому в одиннадцать и через какой-нибудь час был уже на вокзале. В широком барашковом «кожухе» и высокой мерлушковой шапке ходил он по перону, разглядывая маневрирующие поезда, наблюдал незнакомую жизнь построенной в его отсутствие железной дороги и с явным нетерпением ждал, когда подадут поезд, который привезет его в Петербург, покинутый им тринадцать лет тому назад. Два часа показались ему целой вечностью. «Закупоренный», по его выражению, в вагон, он не перестал волноваться. Не прошло и получаса, как тронулся поезд, а он уже два раза переспросил кондуктора, в котором часу точно они приедут в Петербург? Носивший военную форму и каску, а потому очень важный, кондуктор, с пренебрежением взглянув на мужицкий «кожух», еле ответил, что на другой день в восемь часов вечера. Значит, еще целых тридцать часов! Сюда он ехал из Новопетровской крепости семь месяцев, но эти последние тридцать часов теперь казались ему более длинными, чем все его семимесячное путешествие.

«Туда, — подумал он, — семь дней, а назад семь месяцев».

Действительно, отправленный в 1847 году по приказу царя в ссылку, он дорогу из Петербурга в Оренбург — две тысячи сто верст — проехал в неделю. По триста верст в сутки!

Однако сейчас, сидя в вагоне и вспоминая все, что он за эти семь месяцев видел и слышал, Шевченко в глубине души признал, что это путешествие мог бы назвать так же, как один из своих рассказов, «прогулкой не без удовольствия и не без морали».

И в Астрахани, и в Нижнем-Новгороде, и, особенно, в Москве он везде встречал такой радушный прием, его окружали таким ласковым вниманием, что уже одно это искупало все огорчения затянувшегося путешествия. Кого только он за это время не перевидал, с кем только не познакомился! Посетил свою старую приятельницу княжну Репнину, которая всегда относилась к нему с более чем братской любовью. Потолстела, как будто даже «помолодела». Вот только в ханжество ударилась! Наверно, встретила в Москве хорошего исповедника. А сколько замечательных дней провел он в доме своего старого друга, великого артиста Щепкина! Хорошо было и у Максимовича. Молодеет старина — женился, отпустил себе усы, да и в ус себе не дует. . . А какие в этот вечер родные задушевные песни пела очаровательная жена Максимовича! И как пела! Песни эти перенесли его на берега широкого Днепра. Или вечер в семействе Сергея Тимофеевича Аксакова, сыновья которого познакомили его с многими выдающимися людьми и, между прочим, со стариком декабристом князем Волконским. И сейчас он не может без улыбки вспомнить, как на одной из станций по дороге в Москву он встретился с Бутаковым, под начальством которого находился во время плавания в 1848 и 1849 годах по Аральскому морю. Увидев Шевченко в сопровождении жандармского унтер-офицера, Бутаков явно встревожился.

— Что случилось? Неужели опять? — спросил он его тихо, отведя в сторону.

Оба они потом много смеялись, когда Шевченко объяснил, почему его сопровождает жандарм. Он отвозил в Вятку какого-то непокорного своему отцу капитана Шлиппенбаха и, возвращаясь домой, согласился довезти Шевченко за десять рублей до Москвы.

Хороший, трогательный человек этот Бутаков. Оказывается, возвращается на берега Аму-Дарьи. Чудак! Серьезно предлагал ехать с ним вместе в Оренбург. Шевченко только руками замахал.

— У меня, — признался он, — при одном воспоминании об этой пустыне сердце холодеет. . .

А Бутаков, тот готов был навсегда поселиться в этой пустыне! Понравился сатана лучше ясна сокола!

Утомленный Шевченко скоро заснул. . . Когда проснулся, оказывается, уже проехали Тверь. Раньше его вставшие пассажиры уже успели запастись кипятком и, согреваясь чаем, беседовали, кто о чем. Какой-то купчик рассказывал о речах,

которые произносил на пышных обедах, устраивавшихся по поводу манифестов царя об улучшении положения крепостных крестьян, миллионер-откупщик Кокорев.

— «Мы, — сердито передавал купчик речь Кокорева, — мы, купцы, сами, говорит, происходим из крестьян. И, когда царь-батюшка такое дело начинает, мы, говорит, должны между всеми русскими купцами подписку объявить, кто и за сколько крестьянских жилищ заявит желание заплатить деньги помещикам!» Вона, куды хватил! Ему что!.. Он миллионщик:..

— А славный домина у него в Москве, около Петровки, — послышался голос.

— Небось, целковых шесть стоит, — иронически заметил слушавший этот разговор крестьянин.

— Бывают дома и подешевле, — прибавил другой.

— Как же это дешевле, — заинтересовался купчик. —Какие такие дома?

— А вот те, что одна лошадь домов по двадцать возит. Называются только они гробами, а то тоже домовина. Стало быть, дом.

— Да ты к чему это про гробы-то? Ты, брат, того...

— Это он не про гробы, — усмехнулся первый крестьянин. — Он про жилища, что Кокорев крестьянам покупать у помещиков собирается...

— Бесчувственные вы какие-то, господа крестьяне, о вас хлопочут, стараются, а вы... — начал было купчик, но не докончил своей речи.

Общее внимание привлек громкий, с небольшой хрипотой голос человека в поддевке, ораторствовавшего рядом, за другим чайником.

— Толкуют об эманципации, — возмущался голос.— Пусти на волю крепостных без выкупа, и еще землю им подари! Не жирно ли будет? Да он, мужик, завтра же эту землю пропьет. Мужик если и работает, так только из-под палки. Мужика знать надо. Только тот помещик и покоен, кто ходит на кулаках. Прямо скажу — я их порол и еще триста лет пороть буду, если доведется прожить.

Крестьяне насторожились.

— Гляди, раньше не подохни, — раздался голос из их группы.

Поддевка грозно сверкнула очами в их сторону.

— Вот они! Бунтовщики! Бунтуйте, черти полосатые, бунтуйте!.. Грош цена вашим бунтам. Давеча ехал с одним исправником. Возвращался из деревни, где бунтовать вздумали.

Выпорол десятого, и как шелковые стали. Нет, старые-то порядки сразу не оборвешь. По-заячьи не прыгнешь.

Ему возразили, что помещики сыплют деньги на взятки, но что скоро будет положен конец взяточникам.

Тут уж вмешался в спор молчавший до сих пор старенький попик.

— Нет, милые, — уверенно заявил он, — взятки всегда были, есть и будут. Господь наш Иисус Христос избрал только двенадцать апостолов — и один из них был взяточник. Полагаю, что сего рода нападения во время повсеместно наблюдаемого ныне раздражения умов неприличны и опасны. Именно сугубо опасны и зловредны.

В маленьком муравейнике, каким был железнодорожный вагон, шли такие же разговоры, те же споры, какие Шевченко слышал везде, начиная с киргизских степей и кончая Москвой. Не было уголка, где не спорили бы, в разных местах по-разному, но всегда с одинаковой страстностью, о висевшей в воздухе «эманципации».

Даже старик историк Погодин, с которым Шевченко довелось познакомиться в Москве, и тот не мог удержаться, чтобы не выступить против крепостников-помещиков, не желавших отказаться от того, что они считали своим неотъемлемым «правом». Наивный старик, он даже состоявшееся около этого времени освобождение негров пытался использовать в качестве оригинального аргумента, доказывающего необходимость «эманципации».

— Но ведь негры — черные, — с характерной для него наивностью доказывал Погодин, — а крестьяне — белые. Негры дикие — это почти естественные произведения, дети географии, а не истории, а крестьяне — христиане. Негры обрабатывают за морями только сахар, а крестьяне нас всех поят и кормят досыта, доотвала и поят через край, обувают и одевают, несут рекрутские и все повинности.

Все эти обывательские разговоры, даже либеральные, и либеральные особенно, только раздражали Шевченко. И сейчас, слушая, что говорилось вокруг него в вагоне, он с трудом удерживался, чтобы не вмешаться в спор. Поддевка, этот дикарь-помещик его прямо возмущал, но какой смысл был с ним спорить? Шевченко только занес его, как лишний экземпляр, в свою богатую, собранную им в течение всей его жизни, коллекцию дикарей, которые напрягали все свои силы для того, чтобы затормозить колесо истории и сохранить свои воображаемые «права».

Нет, скорее, скорее в Петербург! Вынул из своей «мизерии» взятую у Щепкина книжку «Современника». Отдельные книжки этого журнала изредка попадались ему, когда он был в ссылке. Помещавшиеся здесь статьи, посвященные крестьянскому вопросу, он перечитывал по нескольку раз. Хорошие статьи! Как дважды два четыре, доказывалось, что не крестьянин должен платить помещику, а наоборот — помещик, даже если отдаст крестьянам даром всю землю, все-таки останется у них в долгу. Значит, все эти разговоры насчет выкупа — чепуха: помещикам гроша медного не надо давать, а еще взыскать с них за их прошлые беззакония и насилия. И в строках и между строк Шевченко читал, что говорящие это надеются на крестьян. И верно. Даром, что народ еще темен! Ничего.

И Шевченко подумал о себе. Разве он не кровный сын этого темного народа? Разве до двадцати четырех лет он не был крепостным? Не торчал казачком в панской передней? Разве не добивали его солдатской муштровкой в оренбургской ссылке? Не морили в вонючей казарме? И что же? Он оброс бородой, волос на голове поубавилось, но душой он молод попрежнему. Годы испытаний его не сломили. Наоборот, еще больше закалили, прибавили опыта. Теперь-то уж он знает, потому что своими глазами видел, на себе испытал, что значит царская Россия и царь Николай, «неудобозабываемый тормоз»!.. Скорее бы только в Петербург!

## 2

Приехали без опоздания. Ровно в восемь часов вечера раздался громогласный рев паровоза, и поезд, тяжело громыхая, пыхтя и шипя, влетел под крышу вокзала.

Шевченко вышел на площадь, где в ожидании пассажиров выстроились извозчики — одни на санях, но больше на дрожках.

Шел мокрый снег и сейчас же таял. От этого на улицах становилось только грязнее. Редкие газовые фонари тускло освещали лужи, скрывавшие ямы, провалы и выбоины. По таким улицам, вымощенным прогнившими деревяжками или окаменелыми яйцами, как назвал каменную петербургскую мостовую какой-то остроумный путешественник, и в хорошую погоду было мучительно ездить, а в распутицу даже рискованно. Дрожки то и дело накренялись в сторону. Приходилось крепко держаться за полсть, чтобы не вывалиться и не сломать себе шею. О быстрой езде и думать было нечего. Как ни по-

нукал своего возницу торопившийся Шевченко, а на Большую Морскую, где жил его приятель, Михаил Матвеевич Лазаревский, тащились с Московского вокзала целый час.

Михаил Матвеевич, рано вернувшийся со службы из своего губернского правления и успевший уже пообедать и отдохнуть, сидел в столовой за уютно шипевшим самоваром и только что развернул «Северную почту», по которой последнее время внимательно следил за авантюрами Наполеона III. Раздавшийся вдруг в передней довольно сильный звонок заставил его вздрогнуть. Кухарка Палашка, не менее его удивленная поздним гостем, пошла открывать дверь. Через минуту послышались чьи-то тяжелые шаги и раздалась песня: «Зійды, зійды, зіронько вечірняя»...

— Боже мой, да это же Тарас Григорьевич, — радостно крикнул Михаил Матвеевич и бросился в переднюю, где стоял Шевченко, не успевший еще снять свой «кожух».

Друзья крепко обнялись, даже заплакали от радости. С Оренбурга ведь не виделись. Через какую-нибудь минуту на столе появились колбасы — настоящие, украинские, ветчина, кулич, пасха, — это был четвертый день пасхи, — сливянка, вишневка, ром... Лазаревский налил рюмку Шевченко, рюмку себе, подошел к нему и еще раз обнял.

— Ну, Тарас воскрес, — сказал он, целуя его.

— Воистину Тарас воскресе, — отвечал ему Шевченко.

Начались воспоминания, расспросы про Оренбург, про общих оренбургских знакомых, про Бутакова, про капитана Герна, давшего приют Шевченко в свое время, про дорогу. В свою очередь Лазаревский сообщил Шевченко, кто из его друзей сейчас в Петербурге.

— Семен Артемовский тут? — прежде всего спросил Шевченко.

— Тут.

— Идем к нему.

— Сейчас?

— А что же?

— Поздно... Да, наверно, и дома не застанем... Ну, конечно, сегодня же идет «Руслан и Людмила»... Какой он Руслан! Замечательный! Куда до него Петрову! Вот сам услышишь...

Решили, что завтра же побывают у него, потом у Толстых. У Толстых обязательно.

— И все твои польские приятели тут в полном сборе! И Сераковский, и Желиговский, и Станевич.

— Славные люди, — вздохнул Шевченко. — Мы с ними очень сошлись там, в Оренбургской пустыне. Надо бы им дать знать.

Лазаревский обещал завтра же утром известить их и собрать всех вечером у Василия Белозерского, союзника по мыслям и соседа Шевченко по каземату III отделения.

Добродушный Лазаревский вполне разделял симпатии Шевченко к его друзьям по ссылке. Он имел возможность узнать их, когда служил в Оренбурге. Заговорив о них сейчас, он вспомнил, что кое-кто из земляков предостерегал Шевченко, чтобы он им не доверял, так как будто бы и Сераковский, и Бр. Залеский, и Желиговский только притворяются друзьями, а сами спят и видят, как бы его оторвать от Украины и заставить служить польским интересам.

Шевченко только засмеялся. Какие пустяки! Сигизмунд Сераковский — настоящий поэт, искренний, пламенный революционер. Его «вдохновенные» письма Шевченко всегда читал, по его собственному признанию, «с наслаждением». Стоило только Сераковскому на время замолчать, и Шевченко уже запрашивал Бр. Залеского, где он, что с ним, почему молчит. Одно из писем этого польского ссыльного, родившегося на украинской Волыни и кончившего житомирскую гимназию, прямо тронуло Шевченко своим «ласковым, сердечным украинским словом».

Хорошо разбиравшийся в людях Шевченко с первого же дня знакомства почувствовал в нем «своего». Ему понравились его прямота, его ум, его стойкость в стремлении к достижению раз поставленной себе цели. А цель эта определилась для него очень рано. Во время польского восстания 1830 года убили его отца, собравшего партию повстанцев. Ему было тогда всего шесть лет, но он запомнил это на всю жизнь. Когда в 1848 году его ,«по подозрению в намерении» уехать за границу, сослали солдатом в Оренбургский батальон, он не пал духом, твердо решил все претерпеть, только бы развязать себе руки для настоящей революционной работы. Он сделался самым исполнительным солдатом и добился того, что его произвели в офицеры, а потом приняли даже в Военную академию Генерального штаба. И сейчас он играл видную роль в революционных кружках Петербурга.

А Желиговский, этот идеалист и романтик! Шевченко отлично помнит его драму «Иордан». В этой пьесе-сатире он выступил пламенным борцом за дорогую Шевченко идею освобождения крестьян и не пожалел красок для характери-

стики польских крепостников — панов, которые этих крестьян угнетали.

О Бр. Залеском и говорить нечего. Испытанный друг!

Торопясь в Петербург, Шевченко, конечно, хотел поскорее встретиться с земляками, с такими своими друзьями, как Лазаревский, Семен Гулак-Артемовский, с семьей художника графа Толстого, но все же,— в этом он, может быть, и самому себе не хотел признаваться, — не малую роль в этой торопливости играл и кружок его польских друзей. Он был убежден, что этот кружок должен был иметь связь с редакцией давно его интересовавшего журнала «Современник». Надо было знать Сераковского, как он его знает, для того чтобы не сомневаться, что он не пройдет мимо людей, работавших в этом журнале.

Занятый службой, Лазаревский далеко стоял от литературных кругов и потому мог сообщить Шевченко о них очень мало. Но зато он рассказал немало интересного об открытом недавно и поразившем его своим блеском Эрмитаже, для обозрения которого только на-днях приезжал специально из Парижа Теофиль Готье. Подробно сообщил, как освящали Исаакиевский собор, законченный только в этом году. Вспомнил кстати и о другой злобе дня — о гастролях в Петербурге авантюриста виконта де Кастоне, соперничавшего с знаменитым спиритом Юмом.

— Сказать невозможно, до чего дошло, — смеялся Лазаревский. — Эти два месяца весь Петербург ни о чем другом не говорил, как только об этом чудотворце. Политика, литература, современные вопросы — все отошло на задний план. В залах Бернардаки на Знаменской улице, где он давал представление, задыхались от жары, — так много собиралось публики! Соперничала с ним только Юлия Пастрана, красиво сложенная женщина с лицом большой мохнатой обезьяны, не то гориллы, не то павиана. Публика валом валила смотреть, как она танцует и поет.

— Дикари, сущие дикари, а еще столичные, — возмущался Шевченко.

Спать легли в третьем часу ночи. Усталый с дороги Шевченко, как только лег в постель, так и заснул.

Не прошло, однако, и нескольких минут, как он проснулся от раздавшихся за окном каких-то странных стуков, сопровождавшихся резкими свистками.

— Что такое? — недоумевал он.

— Ах, это!.. Забыл тебя предупредить, — засмеялся Лазаревский. — Барабанят дворники, а свистят хожалые.

Раньше дворники пугали воров тем, что стучали особыми дубинками о тротуары... Это портило тротуары. Теперь дубины заменили этими кастаньетами. Как видишь, реформы на каждом шагу! Обыватель может спать спокойно, начальство о нас бдит...

## 3.

Снег и слякоть не помешали Шевченко на другой день обегать полгорода, как он признавался друзьям, «почти без надобности». Ему просто хотелось взглянуть на город и себя показать, и еще больше людей посмотреть.

Одиннадцать лет прошло с тех пор, как отсюда выслали Шевченко. Эти одиннадцать лет показались ему чуть ли не столетием, — так много он за это время пережил и столько событий произошло. А город, столичный город, каким был, таким и остался.

Так же, как и раньше, по Невскому проспекту, с его магазинами, сверкавшими зеркальным окнами, в пестром движении мелькали тысячные рысаки, блестящие лондонские и венские экипажи, драгоценные кружева, меха, шелк и бархат, раскрашенные бороды кучеров в набитых ватой армяках, отороченные бобрами, разноцветные воротники расшитых золотом мундиров, генеральские яркокрасные брюки с золотым лампасом. Так же, как и раньше, и, пожалуй, только еще в большем количестве, наряду с этой роскошью сновали нищие, грязные и оборванные извозчики на дребезжавших и таких же оборванных дрожках, влекомые еле передвигающими ноги клячами.

И те же грязные, выкрашенные охрой в один и тот же казенный желтовато-коричневый цвет дома. На вывесках у парикмахерских та же нарядная, опирающаяся рукой на трость, дама, которой франтовато одетый молодой человек пускает из локтевой ямки бьющую фонтаном кровь... На вывесках табачных магазинов неизменные турок, курящий кальян, и негр, курящий сигару. У некоторых зданий и ворот предостерегающие надписи: «Здесь вообще воспрещается»!!.

Побродив по городу, Шевченко зашел к старому своему другу Семену Гулаку-Артемовскому и вместе с ним отправился к Толстым.

— Сердечно и радостно встретились мы с моей святой заступницей графиней Анастасией Ивановной Толстой и Федором Петровичем Толстым, — рассказывал он друзьям.

Действительно, встретили здесь Шевченко как родного, даже теплее.

Однако оставался Шевченко у Толстых недолго. Он твердо помнил, что у Белозерского ждут, наверно, уже оповещенные о его приезде Сераковский, Желиговский, Станевич. . . Там действительно его поджидали, но Сераковского, когда пришел туда Шевченко, не было, и это его очень обеспокоило.

Не прошло, впрочем, и четверти часа, как в дверях появилась приземистая фигура армейского драгунского офицера в ветхом, из грубейшего, ставшего жидким, сукна пальто, из-под которого виднелся заштопанный около петель форменный офицерский сюртук. Это и был Сераковский. Его серые глаза, полные дикой пламенной энергии, сразу загорелись радостным огнем, как только увидели Шевченко.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие, — гаркнул, вытянувшись по всем правилам солдатского артикула, Шевченко.

— Вольно, — засмеялся Сераковский, и друзья крепко сжали друг друга в объятиях.

— А где же кувшин с молоком? — предъявил ему претензию Шевченко.

Сераковский рассмеялся.

— Вот что вспомнил. Тут есть вещи получше молока, — сказал он, показывая на стол, уставленный бутылками вин и наливок.

— Не в тім річ, що в хаті піч, але як вікна стоять, — засмеялся Шевченко. — Никогда не забуду твоего молока. Знаете вы, что это было за молоко? — обратился он к Лазаревскому и Белозерскому. — Нет, не знаете! Бывало, после муштровки соберемся в казарме. Кто письмо получил, кто газету где раздобыл, беседуем... Ну, а насчет вышивки, какая у солдата вышивка! Тут вот Сераковский тащит вдруг кувшин молока, и начинается у нас пир горой. Помните, панове?

— Еще бы, — откликнулся Желиговский. — Никогда не забудем эти наши пиры, «wielkiemy mlekamy» называвшиеся.

— Да, уж нечего сказать, хорошее было время, — засмеялся Шевченко. — Сто чортив его матери.

Белозерский, на правах хозяина, предложил выпить за радостную встречу друзей.

— Дай боже, щоб все було гоже, а що не гоже — одверны, боже,— провозгласил он тост, дружно поддержанный друзьями, в один голос крикнувшими: «дай боже».

Хором затянули одну украинскую песню, потом другую, третью.

— Друзья, — поднял свой стакан Сераковский, — вот мы

поем, и вспомнилось мне одно стихотворение. Получил я его еще там, в Оренбурге, от одного поэта. Можно прочесть? Хотите послушать?

Все в один голос просили прочесть.

— Ну, — начал Сераковский, — слушайте:

Запели мы и разошлись
Без горьких слез, без слова.
Сойдемся ли мы снова,
Чтоб снова песни полились?

Как думаете, друзья, «заспиваемо»?

— Заспиваемо, — послышались голоса, — да хоть сейчас.

— Еще минуту, — остановил Сераковский друзей, начавших уже петь, и продолжал:

А может быть... Но где? Какими?
И запоем ли о чем?
Не здесь и, верно, не такими!
И не такую запоем.

И здесь невесело певали,
И тут печально время шло,
Но здесь нам все-таки жилось
И мы хоть вместе тосковали,
Припомнив тот веселый край
И Днепр могучий, крутогорый,
И молодое наше горе,
И молодой тот грешный рай. [1]

— Хорошо это ты написал тогда, Тарас, — закончил Сераковский чтение, — твое здоровье, Тарас.

Все чокнулись с Шевченко.

— Хорошо-то хорошо, а все же только не угадал.

— Что, не угадал? — удивился Шевченко.

— А вот не угадал. Видишь, собрались, слава богу, не в Оренбурге, а в Петербурге, это верно. Ну, а какими были, такими и остались, и запоем, наверно, ту же песню, что пели и тогда, в казарме, только, пожалуй, погромче.

По тону, каким Сераковский произнес последние слова, все поняли, на какую песню намекает этот одетый в офицерский мундир революционер.

— Разве не правда, Тарас? — обратился Сераковский прямо к Шевченко.

— Правда, — отвечал Шевченко. — Теперь все поют одну и ту же песню, только вот горе, по-разному все, а потому

---

[1] Перевод Николая Брауна.

по-разному, что никто из тех, кто поет, на своей шкуре не попробовал, что такое неволя, да еще крепостная.

С этим не согласился Сераковский.

— Нет, Тарас, — возразил он, — есть тут один человек, что крепостным не был, а песню поет правильно.

— Уж не Некрасов ли? — иронически спросил он.

— Может и Некрасов, а только я не про него.

— Кто же это такой?

— Чернышевский.

— Тот, что пишет в «Современнике»?

— Тот самый. С виду тихий, а сам...

— Тиха вода греблю рве, — прервал его Шевченко. — Ты его знаешь?

— Вчера еще у него был.

— Познакомь меня с ним, сердешко, — попросил Шевченко.

Сераковский сказал, что это ничего нет проще, тем более, что Чернышевский уже знает Шевченко не только по рассказам его, Сераковского, — еще в Саратове он откуда-то добыл и переписал такие его стихотворения, как «Сон» и «Кавказ»...

— Замечательный человек, — восторженно заговорил о нем Сераковский, — не чета нашим либералам-болтунам. Никогда не забуду, как он меня встретил, когда я пришел к нему знакомиться. «Из ваших стараний, — заявил он мне, — ничего не выйдет... Откровенно скажу: не только сам не хочу помогать, советовал бы, чтобы и вы бросили это дело». Каково? .. А дальше еще лучше. «По природе я, — говорит, — человек смирный. Я хочу, чтобы все оставалось, как есть, потому что ничего лучшего для меня не сделают никакие реформы. Соблюдая благопристойность, я непрочь говорить: «люблю реформы», — согласитесь, неприлично выказывать себя равнодушным к общей пользе, — и хотя я не бог знает какой хитрец, но не так глуп, чтобы возбуждать презрение и ненависть к себе высказыванием моих задушевных мыслей, которые, как видите, не очень возвышенны и привлекательны. Но с вами я не имею охоты шарлатанить».

— И это говорил он, Чернышевский? — заволновался Шевченко.

— Он самый! О, умный человек! Настоящий, серьезный революционер. И себя законспирировал, и меня проэкзаменовал. А только все же, как ни хитер, а проговорился. «Я, — сказал он мне, прощаясь, — не желаю, чтобы делались ре-

формы, когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом»... Понимаете, насчет каких это у с л о в и й заговорил? Ну, а теперь мы с ним друзья и больше в прятки не играем.

— Что же, и мне такой экзамен будет? — спросил Шевченко.

— Кто его знает... Впрочем, не думаю. Я ведь к нему пришел в офицерской форме... Человек неизвестный. А тебя он заочно полюбил. «Побольше бы нам таких, как Шевченко,— не раз говорил он мне, — это демократ до мозга костей»... Вот как он тебя ценит.

— Когда же мы к нему пойдем?

— А когда хочешь.

Выпили за здоровье Чернышевского, за «Современник», за каждого по очереди из присутствовавших и начали собираться уходить.

Уже в дверях Сераковский вдруг остановился и скомандовал:

— Смирррно!.. Которые поляки — выступить из строя!

Желиговский, Станевич и сам он выстроились в шеренгу.

— Что это за люди? — обратился он тоном командира к Лазаревскому, Белозерскому и Шевченко, показывая на свою группу.

— Так что, ваше благородие, — отрапортовал Шевченко, — это люди хуже воров и разбойников, потому они не только душегубцы, но царегубцы, их нужно бояться, как заразы.

Все громко расхохотались. Живо представилась невзрачная фигурка всегда почти полупьяного полковника Чигиря, который таким приемом воспитывал в русском солдате вражду к «унутренним врагам» полякам.

— Да, — заметил Желиговский, — сейчас смешно. А тогда было не очень. Никогда не забуду. Подходит ко мне как-то в строю офицер и говорит: «Я знаю, что ты человек образованный и хороший, но пока ты не будешь ружьем делать так, как ефрейтор, я прикажу тебя каждый день бить палками». У меня прямо кровь бросилась в лицо. Заметил, мерзавец! «Ты что же, — накинулся на меня, — ты смеешь грубить мне глазами?.. Я выбью из тебя этот польский дух!..»

— Ну их к бису, — махнул рукой Шевченко. — Не вспоминай к ночи, а то еще приснится эта нечисть. Выпьем лучше на прощанье «дышлевого» еще за Чернышевского.

Чокнулись и разошлись по домам, затянув хором:

Та яром, яром
За товаром,
Манивцями
За вівцями. . .

## 4

Шевченко буквально засыпали приглашениями на вечера и на обеды — земляки, землячки, не земляки и не землячки.

Бесконечные и бесплодные разглагольствования об «эмансипации», которые велись на этих собраниях, его только раздражали.

— Нет, — не раз повторял он самому себе, — придется где-нибудь спрятаться.

Но куда «спрятаться»? У него не было своего угла. Волей-неволей приходилось ютиться у друзей, ходить по знакомым.

Один раз он просидел до трех часов утра у профессора Кавелина. Начав с вопроса о минувшей и будущей судьбе славян, перешли к философии и психологии и не заметили, как минула ночь.

«Школьничество, — думал он, вернувшись домой, — но очаровательное школьничество!»

Другой раз провел с другом Семеном вечер у своего земляка, знаменитого математика Остроградского, который принял его как родного. Было интересно и весело. Счастливый, он каждое лето ездит на Украину! «Пригласил бы, — шутит, — и Семена к себе, да боюсь, что в Полтавской губернии сала нехватит на его продовольствие».

По его совету отправился в цирк на лекцию по геологии и астрономии профессора Роде. Любопытные оптические картины образования земной коры ему понравились. Очень был доволен, что успел посмотреть, так как последующие лекции были запрещены по настоянию митрополита Гавриила, который нашел, что Роде, развивающий теорию мироздания еретика, знаменитого астронома Лапласа, подрывает священное предание о сотворении мира богом в шесть дней.

Почти каждый вечер посещал Толстых, часто бывал в театре.

За время такого своего вынужденного странствования по Петербургу Шевченко познакомился с братьями Жемчужниковыми, поэтом Щербиной, поэтом Василием Курочкиным и другими.

Знакомство с Курочкиным, переводчиком Беранже, доставило ему особенно большую радость.

Экспансивный, искренний энтузиаст, смело и громко протестовавший против всего, что его возмущало, Курочкин сразу пришелся по душе Шевченко своей простотой. В нем не было ничего барского. Жизнь бедняков ему была так же интимно близка, как и Шевченко. У них были общие симпатии и антипатии. Обоим поэтам одинаково была присуща гордость плебея-труженика, и они скоро сошлись очень близко.

Вырвавшийся из пустыни, где все люди были так же однообразны и скучны, как окружавшая их природа, Шевченко жадно вглядывался в новую жизнь, не пропуская мимо ни одного человека, чтобы внимательно его не изучить и не зафиксировать в своей памяти.

Неожиданная встреча с Энгельгардтом, сыном его бывшего помещика, заметно его взволновала. Познакомился он с ним совершенно случайно. Шла опера «Жизнь за царя». Семен Артемовский потащил его за кулисы. Там оказался молодой Энгельгардт. После некоторого, вполне понятного смущения разговорились. Оказалось, что молодой Энгельгардт, большой ценитель музыки, еще мальчиком познакомился с Глинкой, жившим в их квартире, и даже принимал вместе с Серовым и Стасовым участие в музыкальных вечерах композитора, которого высоко ценил.

— Не хотите ли, Тарас Григорьевич, — предложил он,— зайти ко мне взглянуть на бюст Глинки, сделанный в тысяча восемьсот сорок первом году художником Яненко? Бюст интересный. Для него Глинка позволил Яненко снять с себя гипсовую маску. Кроме того бюст был пройден Брюлловым.

Приглашение это было сделано так просто, юноша казался таким симпатичным, что Шевченко не отказался. Да кроме того было на самом деле интересно посмотреть на эту работу постоянного участника пьяных пиршеств Клюкольника, как называли Кукольника, художника Яненко, получившего прозвище Пьяненко. Имя Брюллова тоже напомнило многое.

«Забвение прошедшему, мир и любовь настоящему» — старался внушить себе Шевченко, входя в кабинет, у дверей которого всего только тридцать лет назад он стоял казачком.

А сейчас...

Впрочем, молодой Энгельгардт до такой степени не был похож на своего отца, которого Брюллов прозвал «свиньей в торжковских туфлях», что в представлении Шевченко эти два лица совершенно не связывались одно с другим.

Перед ним был симпатичный, простой, хорошо образованный молодой человек, который любил искусство, любил Глинку и любовно собрал богатейший, в высшей степени интересный материал, характеризующий жизнь и творчество Глинки. Помимо бюста Яненко, воссоздавшего лицо композитора, тут были его портреты, его письма, черновики его рукописей, — все, что писал он и что писалось о нем.

— Вот, — вынул Энгельгардт нотный лист, — это романс «Как сладко с тобой мне быть»... Его написал Глинка для моей матери.

— Настоящий музей, — заметил, разглядывая рукописи Шевченко, оценивший по достоинству эту большую культурную работу.

— Вы правы, все это музейный материал. — ответил ему Энгельгардт, — я приведу его в порядок и передам в хранилище нашей Публичной библиотеки.

Пленило Шевченко также и то, что Энгельгардт увлекается астрономией не как дилетант, а серьезно ее изучает.

После лекции Роде Шевченко особенно почувствовал великое значение этой науки.

«Любовь к настоящему» — время от времени твердил он себе, слушая, как молодой Энгельгардт с юношеским пылом развивает свои планы об устройстве особой астрономической обсерватории и рассказывает о замечательных тайнах природы, которые с каждым днем все шире и шире развертывает перед ним наука.

«В кого он такой, — мелькнула мысль у Шевченко, — вероятно в мать».

И в представлении Шевченко точно воскрес симпатичный, всегда печальный, облик этой красивой женщины, прозвучали забытые мотивы ее прекрасной и, как сама она, всегда грустной игры на фортепиано, которую он так любил слушать, стоя у этих вот дверей...

«Забвение прошлому, — внушал себе Шевченко, — забвение прошлому».

Вернувшись домой, он долго не мог заснуть. Многое, многое зашевелилось в душе при этой встрече.

Нет, не может быть, да и не должно быть забвения этому прошлому!

Не должно быть, потому что оно не прошло... Разве его родные братья и сестры до сих пор еще не крепостные? Разве миллионы таких же, как он, и сейчас еще не задыхаются в панской неволе? И разве не простая, счастливая слу-

чайность, что сам он не крепостной? Не встреть он на своем пути добрейшего Сошенко, Брюллова и Жуковского, которые его в ы к у п и л и, может быть расписывал бы и сейчас потолки и стены в палацах пана Энгельгардта или исполнял какие-либо другие его прихоти.

Вспомнились злые слова поддевки-дикаря по дороге из Москвы: «А я их порю и триста лет пороть буду».

Разговоры, которые приходилось ему слышать за это короткое время уже здесь, в Петербурге, приводили его к убеждению, что дикарь этот не так уж одинок. Да и может ли он быть одиноким, когда во главе дворян-помещиков стоит п е р в ы й дворянин и п е р в ы й помещик — царь.

Нет, это далеко еще не прошлое, а самое настоящее... Не забвение ему, а непримиримая борьба на жизнь и смерть.

И он вслух повторил тираду из своих «Неофитов».

Молю, рыдаючи, пошли,
Подай душе убогой силу,
Чтоб огненно заговорила,
Чтоб слово пламенем взвилось,
Чтоб людям сердце растопило,
И по Украйне пронеслось
И на Украйне чтоб святилось
То слово — божие кадило,
Кадило истины. Аминь!

Скорее бы только повидаться с Чернышевским! И Шевченко твердо решил: если Сераковский долго будет тянуть с исполнением своего обещания познакомить его с Чернышевским, — он пойдет к нему один.

## 5

Чаще, чем кого бы то ни было, Шевченко посещал дом Толстых. Ему нравилась простая, насыщенная любовью к искусству атмосфера, царившая в этой семье. Седой, восьмидесятилетний старик, граф Федор Петрович Толстой, в своей бархатной, подбитой нестреньким мехом шубке, точно сошедший с старинного Вандиковского портрета, живо откликался на все волнующие вопросы современной жизни, верил в прогресс, любил молодежь. Когда однажды в его присутствии кто-то начал брюзжать, доказывая, что теперь мелкота пошла и молодое поколение хуже стариков, он был возмущен. «Неправда, — горячо запротестовал он, — этого быть не может. Молодое поколение должно быть лучше старого, иначе зачем же мы работали?!.» Воспитание своей дочери он поручил

молодому энтузиасту Старову, поклоннику Грановского, Белинского и Герцена. На Толстовские «пятницы» собирались всегда выдающиеся писатели и художники, общество которых не могло не интересовать Шевченко.

18 мая, когда он вечером зашел по обыкновению к Толстым, его ожидал здесь очень обрадовавший его сюрприз. Приехал артист Щепкин, с которым его связывала давнишняя самая трогательная, искренняя дружба.

«Дворовый человек» помещика графа Волькенштейна, Щепкин так же, как Шевченко, познал, по его выражению, «русскую жизнь от лакейской до дворца». Так же, как и Шевченко, он с ранних лет выработал в себе вполне определенное оппозиционное отношение к существующему государственному строю. Давно связанный с кружком Герцена и Огарева, Щепкин не побоялся, будучи за границей, навестить Герцена. Не в пример таким друзьям, как Кулиш и Максимович, под разными предлогами уклонившимся от посещения опального Шевченко в Нижнем-Новгороде, Щепкин, как только узнал о его приезде в этот город, немедленно же отправился к нему из Москвы и провел с ним несколько дней.

И сейчас тоже, приехав в Петербург, он прежде всего постарался повидаться с Шевченко, которого полицейские власти обязали подпиской о невыезде из Петербурга в течение одного года и не разрешали даже временной отлучки в Москву. Не зная его адреса, Щепкин попробовал найти его у Толстых и не ошибся в своем расчете.

Радостно встретились друзья.

— Не идет гора к Магомету, — сказал Щепкин, здороваясь с Шевченко, — приходится Магомету итти к горе.

— Давно бы, — весело отвечал ему Шевченко, — эта гора пошла к Магомету, так на го́ре этой горе двинуться с места не дают.

По просьбе графини Толстой, горячо поддержанной Шевченко и присутствовавшим при этом Старовым и другими гостями, Щепкин прочел монолог Пушкинского скупого рыцаря, покрытый бурными аплодисментами слушателей.

— Серденько мое, никому не признавайся, что тебе семьдесят лет, — говорил, обнимая Щепкина, Шевченко.

— Признавайся, не признавайся, — вздохнул Щепкин, — а я уже старик.

— Какой ты старик! — протестовал Шевченко. — Гений не старится. У тебя огня больше, чем у любого юноши. Вот что, серденько мое, прочти-ка нам еще «Сцены из рыцарских

времен» Пушкина. Тут покажешь не старика рыцаря, а молодого поэта Франца, который поднял восстание крестьян против благородных рыцарей. Это гениально у Пушкина. Прочти, пожалуйста.

— Нет уж, — решительно отказался Щепкин, — я уже читал. Лучше ты прочти нам своих «Неофитов».

Оказывается, никто из присутствующих не знал этой поэмы. Щепкин, которому Шевченко ее посвятил, так ярко передал содержание потрясающих картин из жизни первых христианских мучеников в «Неофитах», что, как ни отговаривался автор, а пришлось читать. И Шевченко начал:

Не в нашем крае, богу милом,
При гетманах иль при царях,
А в римских идольских краях
То беззаконие творилось.
Во время Деция-царя,
Иль Нерона государя, —
Я затрудняюсь вам ответить.
Ну пусть при Нероне!
На свете
России не было тогда.

Несмотря, однако, на такое предисловие, то место в поэме, где мать-язычница разыскивает своего сына, которого арестовали вместе с другими христианами, вызвало среди слушателей заметное смущение. А Шевченко нарочито громко читал именно это место:

Твой сын Алкид, дитя родное,
Единственное, дорогое,
Любовь единая твоя,
Гниет в неволе и кандалах.
А ты, скорбящая, не знаешь,
Где он страдает, погибает, —
Идешь искать его в Сибирь,
Иль как там... В Скифию. И ты —
Одна ты разве? Богоматерь,
Укрой нас, свой покров простри!
Нет ни одной семьи иль хаты,
И нет ни брата, ни сестры,
Чтоб горьких слез не проливали,
Чтобы не мучились в тюрьме,
Или в далекой стороне,
В британских, гальских легионах
Их не терзали в дни Нерона.
Нерон жестокий! Божий суд,
Внезапный, праведный, в дороге
Тебя застигнет... [1]

[1] Перевод А. Островского.

Слишком ясен был намек на выведенного под именем Нерона Николая I и отчасти на личную судьбу самого Шевченко, которого столько лет муштровали в оренбургских «батальонах».

Свое отношение к «Неофитам» слушатели поэмы выказали так неопределенно, что у Шевченко мелькнуло даже сомнение, был ли он понят. Только один, бурно реагировавший на некоторые места поэмы, Стасов подошел к нему и горячо его благодарил.

— Вы, — сказал он Шевченко, — подаете великий пример всем другим художникам и поэтам. Одна эта поэма вас обессмертит.

Несколько необычная сдержанность слушателей, особенно таких, как граф Федор Петрович Толстой и графиня Анастасия Ивановна Толстая, заставила Шевченко серьезно задуматься. Сейчас впервые он особенно отчетливо почувствовал себя, при всей любви, которая его окружает в этом доме, глубоко одиноким. В изящной нежноголубой гостиной, на этих легких, грациозных стульях и диванчиках в неогреческом стиле, он, «мужицкий поэт», как сам себя называл, выглядел далеким, чужим.

«Как странно, — думал он, — кажется, такие близкие, свои и в то же время чужие».

В его памяти вдруг всплыл рассказ милой, симпатичной и талантливой девушки, дочери графа Толстого, Екатерины Федоровны, с которой он был в большой дружбе, о том, как она в детстве любила игру, называвшуюся «в эти девочки». Игра состояла в том, что выросшие в роскоши дети воображали себя бедными детьми, живущими в хижине, питающимися одним хлебом и играющими в самодельные куклы из тряпок.

Не был ли и он, «мужицкий поэт», одним из предметов подобной игры в этом, безусловно хорошем, но все же аристократическом доме?

И не один он. А, возможно, и Щепкин. этот тоже «мужицкий» актер.

По дороге они с Щепкиным много говорили на эту тему.

На другой день Шевченко провожал этого своего единственного друга на Московский вокзал. Здесь при виде пыхтевшего мощного паровоза ему вспомнился волжский пароход, на котором он возвращался из ссылки, и мелькнувшая тогда в его голове мысль о том, как в будущем машины изменят взаимоотношения между людьми.

— Великий Уатт, — сказал он Щепкину, показывая на локомотив. — Тебе не приходит в голову, что это молодое, не по часам растущее дитя Уатта в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны? А я в этом убежден. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете это колоссальное, гениальное дитя. Согласен?

Щепкин, которого через минуту это гениальное дитя мчало в Москву, весело крикнул ему «да».

## 6

Прошел почти месяц со дня приезда Шевченко в Петербург, когда, после усиленных хлопот графа Толстого, ему отвели «квартиру» в Академии художеств.

Это была узенькая комнатка, рядом с церковью, с одним окном в сад. Мольберт, столик с книгами, небольшой, обитый пестрой клеенкой диванчик, два самых простых стула да закрывавшая входную дверь дешевенькая ширма составляли всю обстановку мастерской поэта-художника. Из-за ширмы узкая дверь вела, по узкой же спиральной лестнице, на антресоли, состоявшие из такой же комнаты, как и внизу, с одним квадратным окном до пола. Комната эта служила спальней и литературным кабинетом. Обстановка здесь была еще беднее. В углу стоял небольшой столик, на котором Шевченко писал свои стихи, кровать, с весьма незатейливой постелью, и в ногах кровати другой, самый простой столик, на котором обыкновенно стоял графин с водой, рукомойник, чайник и несколько стаканов.

Как ни скромна была предоставленная ему мастерская, но, во всяком случае, это уже был свой угол, и хозяину доставило большое удовольствие нарисовать на с в о е й входной двери большое «Ш». Теперь он мог приступить к работе.

Еще будучи в ссылке, он мечтал о том, как займется со временем гравированием. Всегда рассматривавший свою работу с точки зрения ее общественной значимости, он так подходил и к гравюре.

— Быть хорошим гравером, — говорил он, — значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе.

И сейчас, любуясь картинами в Эрмитаже, он присматривался главным образом к тем, которые представлялись ему наиболее интересными для воспроизведения в гравюре.

Несколько раз обошел он галереи Эрмитажа и остановился, наконец, на картине Мурильо «Святое семейство».

Через неделю он был уже у знаменитого гравера Иордана. Конечно, за время его ссылки искусство гравирования ушло далеко вперед по сравнению с его академическими работами. В продолжение какого-нибудь часа Иордан ознакомил его со всеми новейшими приемами. Медная доска, заготовленная несколько дней назад, лежала у него на столе. Приятели подарили ему необходимые для офорта предметы. Можно было приниматься за гравирование.

Работу, однако, пришлось на время отложить.

Зашел долгожданный Сераковский поздравить с новосельем и предложил отправиться вместе с ним на дачу к Чернышевскому.

Оказывается, до сих пор нельзя было сделать это, так как Николай Гаврилович по каким-то делам уезжал не надолго в Саратов, а потом был занят подготовкой к выпуску нового журнала «Военный сборник», которому придавал большое значение.

Шевченко не заставил себя долго ждать — надел широкий соломенный брыль, захватил с собой рукопись дневника, чтобы показать кое-что из своих записей Чернышевскому, и отправились.

Самого Чернышевского, к великому огорчению друзей, дома не застали. Радушно встретившая их жена Чернышевского, Ольга Сократовна, попросила их подождать и провела в скромно обставленную комнату, судя по загромождавшим письменный стол книгам и корректурным листам, кабинет.

Смуглая брюнетка, с черными живыми глазами, делавшими ее похожей на цыганку, она весело заговорила с Шевченко, точно была с ним знакома давно.

— Такое уж ваше несчастье, Шевченко, — шутила она,— придется вам поскучать со мной. Но вы не огорчайтесь! Муж скоро должен вернуться — его потребовали в цензуру.

Заметив тревогу, вызванную этим сообщением у Шевченко и Сераковского, она весело засмеялась.

— Ну, это дело обычное. Я даже рада, когда его вызывают в цензуру, — пояснила она, — по крайней мере хоть воздухом подышит, а то не оторвать от этого стола. Дни и ночи за корректурами.

В комнату вбежал небольшой белокурый мальчик. Нисколько не смущаясь присутствием гостей, он сел на своего игрушечного коня и начал быстро придвигаться к Сераковскому, которого хорошо знал.

— Это мой Саша, — представила его Шевченко Ольга Сократовна. — Шел бы ты, милый, в садик.

Шевченко, любивший детей, запротестовал.

— Ты ведь, Саша, не хочешь в садик? — спросил он ласково мальчика. — Правда?

Мальчик отрицательно покачал головой.

— Ну, вот видите... Он не хочет в садик!.. Ему хочется посидеть с нами. Ай, мама, мама... Сколько лет мальчику?

— Четыре скоро.

— У, старик какой, — засмеялся Шевченко, подошел к столу, взял лист бумаги и начал зарисовывать мальчика на лошади

— Собираетесь на Украину? — спросила Ольга Сократовна.

— Ох, рад бы в рай, да вот горенько мое: сюда ехал — в Петербург не пускали, а теперь из Петербурга не выпускают, добра б им не було.

Ольга Сократовна заметила, что тут все же лучше, наверно, чем было в Новопетровском укреплении, и просила рассказать, как ему там жилось. Шевченко не любил этих воспоминаний и очень ловко перевел разговор на жизнь старосветских помещиков, каких ему пришлось наблюдать, когда сопровождал пана Энгельгардта в качестве его казачка.

— Был я, — рассказывал Шевченко, продолжая рисовать, — как-то у одного помещика в Переяславле. Ударился старик в воспоминания о своих молодых годах. «Вообразите себе, — говорил, — обширное зало; посреди зала стоит рояль; за роялем сидит прелестнейшая блондинка; возле блондинки подушка; на подушке вышит зверь — барс; на этого вышитого барса склонил безбоязненно голову прелестнейший брунет. Вы думаете — кто это? Это я!»

— Это замечательно, — рассмеялась Ольга Сократовна.

— А вот картина домашнего быта пана Горкуши (так его фамилия). «Мальчик, поди достань мне в кладовой табаку, да не того, что висит под сволоком в б у р д ю ж к у (род мешка), а того, что стоит в углу за сундуком в зеленой бутылке; да пускай пани возьмет ложечку или две чайной воды, смотря по количеству, да и разотрет табак, да не твоими погаными пальцами. а сама пусть разотрет; да пускай найдет пани кабатырку, да не ту, що панночка в желтом платье и в шляпке намалевана, а ту, що пастушок с овечкою лежит, що пани купила в Лубнах на ярмарке, как ездила с аптекар-

шею. Да подать мне сюртук, не серый, а драдедамовый синий, в котором я губернатора встречал, да панталоны подать желтые и красный кашемировый жилет. Да еще пускай пани достанет чистый носовой платок; да когда будет давать платок, то пускай помнет его в руках, чтоб носа не поцарапать». В дороге пан Горкуша тоже держит себя сообразно помещицкому своему достоинству. «Когда ездила моя жена в Киев, то, известно, коляска у нас хорошая; кони добрые, орловские, и кучер в армяке; воротник обшит кожею, чтоб бородою сукна не тер. Я велел рессоры подпереть подставками, бо то восемьдесят верст, но все-таки видно, кто едет! Правда, пани моя не вытерпела и велела выбросить подставку под тем боком, где сама сидит. Ну, приехала в Лавру, известно, видят монахи, что приехала помещица, так едва не задушили. Вот мальчик при том был. Мальчик!» На этот зов явился оборванный лакей. «Вот он там был; не даст збрехать. Пошел вон, дурак! — Потом, после обеда, поехала она на Подол в пушные лавки. Там купцы завели в такую темноту, что ничего не видать. Где ни лапнет рукою, то все зверь! Ну, если б это я был, так я бы не испугался; хоть зверь, да уже не живой; а то ведь дама! А потом еще нужно было купить маслин. А маслины славная вещь. Уже для этого не пожалейте дров, да велите истопить печь добре; да возьмите новый горшок и положите ш а р (слой) капусты, а шар маслин, шар капусты, а шар маслин, а потом шар вьюнов, а сверху опять капусты, да и поставьте в печь, так маслины дадут соку, а вьюны вкусу. И это надобно есть со свежею ситницею. А у меня ситницы пекут славно. Явдоха Паламаривна у меня печет. Мальчик! позвать Явдоху Паламаривну!» Мальчик бежит на другой конец деревни и приводит пекарку. «Ведь ты печешь у меня ситницы?» — «Я, паночку». — «Да, вот она печет у меня ситницы. Пошла вон, дура!»

Рассказывал Шевченко замечательно. Ольга Сократовна заливалась веселым смехом.

— Отчего вы рассказов не пишете? — спросила она его.

— Пишу, — улыбнулся Шевченко.

— А почему же я не читала?

— Да не печатают редакторы. Говорят, стихи у вас лучше выходят. Ну, вот вам и портрет Саши, — закончил он, передавая рисунок Ольге Сократовне.

— Спасибо, дорогой, — поблагодарила его Ольга Сократовна. — Это будет первый портрет Саши, да еще нарисованный таким мастером!..

Раздался звонок, и через минуту в комнату вошел Чернышевский.

— А тебя тут гости дожидаются, — упрекнула его Ольге Сократовна.

— Вижу, вижу... Здравствуйте, — поздоровался с ними Чернышевский. — Я тоже давно уже дожидаюсь вас, Тарас Григорьевич!

— Да я... — начал было Шевченко.

— Нечего, нечего, — прервал его Чернышевский. — Ведь вот к Кавелину заходили. Мне, дорогой мой, все известно, — рассмеялся Чернышевский. — Все!..

— Да я... — пытался объяснить Шевченко.

— Знаю, знаю... О славянской федерации захотелось поговорить с Кавелиным... Ведь вы же, кажется, были членом этого Кирилло-Мефодиевского общества?

— От, горенько мое, — развел руками Шевченко, — и вы про этих самых братчиков. Будь я римлянином, я бы воскликнул: «И ты, Брут!..» Никогда я не был членом этого общества. Справьтесь хоть в III отделении. Там-то уж знают... Все раскопали.

— Голубочка, — смеясь, обратился Чернышевский к Ольге Сократовне, — слышишь, куда он меня посылает? Нет, дорогой мой, туда я не ходок!

— Тогда, — в свою очередь засмеялся Шевченко, — верьте на слово. Хорошие там у Кирилла с Мефодием все люди собрались... А только общество их, как говорит пословица, точно бублик — кругом его объешь, а в середине нет ничего — дыра.

— Как, как? — засмеялся Чернышевский.

— А так, — пояснил Шевченко. — И о просвещении разговаривали, и об освобождении крестьян мечтали, а верили в бога да царя. Без мужика думали обойтись, потому боялись мужика. И вышло, что готовили они бублик — федерацию славян, бублик сгрызли, а осталась одна дырка.

Чернышевский крепко пожал руку Шевченко.

— Признаться, я так и думал, — сказал он ему. — Кто написал такую вещь, как этот ваш «Кавказ», тот не мог грызть славянский кирилло-мефодиевский бублик.

Тут вмешался Сераковский. Разговор о славянах напомнил ему о только что вышедшей книжке польского «ученого», некоего Духинского.

— Вы не читали, Николай Гаврилович, книгу Духинского? — обратился он к Чернышевскому.

— О федерации славян? — спросил Чернышевский.

— Пожалуй, только совсем по-новому. Я вам ее принесу. Америка!

— Принесите. Интересно.

— Еще бы не интересно! Вы, русские, воображаете, что вы славяне! Ошибаетесь! Прочтете Духинского и узнаете, что не славяне, вообще не арийцы, а тюрки.

— Ха, ха, ха, — рассмеялся Чернышевский. — А кто же у него арийцы?

— Поляки! К арийцам, впрочем, он любезно соглашается причислить украинцев и белорусов с тем, чтобы они составили одно славяно-польское государство.

— Возглавляемое, конечно, польским народом?

— Угадали — «избранным» польским народом. А граница — Днепр, Двина и Финляндия. Ха-ха-ха...

— Когда б нашей попадье — да попова борода, давно благочинным была б, — съязвил Шевченко.

— Какая ерунда!.. Какая ерунда! — сердито заходил по комнате Чернышевский. — Арийцы, национальные особенности! Да негр, по своим органическим свойствам, ничем не отличается от англичанина. А если есть отличие, то все они объясняются исторически сложившимися судьбами их народов, их образом жизни и занятий. Кого только эти господа надеются обмануть своими расовыми теориями? Говорили бы прямо, что хочется пограбить, где плохо лежит.

— Ох, ох, ох, — вздохнул Шевченко. — Правду, видно, говорят, что от Киева до Кракова скризь беда однакова.

— Верно, Тарас Григорьевич, да и дальше за Краковым тоже. Вот, хотя бы, Наполеон III задумал сейчас прибрать к рукам Италию, Испанию и Португалию и проповедует объединение латинской расы, конечно, под его крылышком.

— Ну, — недовольным тоном прервала его Ольга Сократовна, — опять этот Наполеон III и всякая чепуха.

Чернышевский громко рассмеялся.

— Верно, верно, голубочка, именно чепуха.

— Ты попроси лучше Тараса Григорьевича, — советовала она, — пусть он тебе расскажет, каких он украинских помещиков видел. Я так хохотала, так хохотала.

Чернышевский признался, что именно об этом он и сам хотел попросить Тараса Григорьевича и потому с таким нетерпением ждал, когда можно будет с ним повидаться.

— Тут вот, — сказал он, подойдя к столу, — у меня корректура моей статьи «Устройство быта помещичьих крестьян».

— Ну, вот, — засмеялась Ольга Сократовна, — то был Наполеон, а теперь корректура. Пойду хоть чай приготовить. Когда кончите ваши корректуры — приходите.

— Придем, придем, голубочка, — проводил ее Чернышевский и вернулся к письменному столу.

Подобрав корректурные листы, Чернышевский обратился к Шевченко:

— Дело, видите ли, вот в чем. Я тут пишу по поводу статьи некоего Тройницкого. Беда наша в том, что по крестьянскому вопросу у нас пишут, если не всегда помещики, то в большинстве все же на основании соображений и расчетов, представленных помещиками. Говорят рабовладельцы. Я решил осветить это дело с точки зрения крестьянства.

— Други мои, искренние мои, — со слезами на глазах бросился Шевченко обнимать Чернышевского. — Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь, за этого поруганного, бессловесного смерда.

Появившаяся в дверях Ольга Сократовна так была поражена этими объятиями, что не решилась позвать их пить чай, тихо прикрыла дверь и ушла к себе.

## 7

Лето в этом году было необыкновенно жарким. Все поля вокруг Петербурга представляли собой выжженную солнцем пустыню. Сады и парки уже в половине июля были засыпаны желтыми листьями, как в глубокую осень. Кругом горели леса, и пригородные места тонули в облаках дыма, из-за которых красным пятном выглядывало солнце без лучей. Вода в Неве доходила до двадцати двух градусов.

Появившаяся как раз в это время на петербургском небосклоне огромная, задевавшая своим хвостом Медведицу, комета породила ряд тревожных разговоров.

Тревога особенно усилилась после того, как на пороховом заводе взорвалось полторы тысячи пудов пороху. Испуганные взрывом, от которого вылетали стекла в домах, обыватели объясняли себе все это появлением кометы, знаменующей начало светопреставления, то есть конца мира. Ссылались даже на священное писание.

Над страхами этих петербургских «астрономов» весело посмеивались, собираясь вместе, Шевченко, Курочкин, Сераковский с друзьями.

Работать в такую жару было трудно, особенно в тесной

щели, какой была «мастерская» Шевченко. Очень часто, изнемогая от жары, он выходил освежиться на Неву и располагался у ног гранитных сфинксов, украшающих спуск против Академии художеств. Он любил это место еще когда учился в Академии. Частенько, особенно в белые ночи, вместе с Брюлловым они любовались этими прекрасными произведениями неизвестного египетского скульптора. Почему и при каких обстоятельствах царю пришла фантазия украсить ими в 1832 году свою столицу? Вопрос этот не раз задавал себе и своим приятелям любознательный Шевченко.

Кто-то, в конце концов, объяснил ему, что сфинксы являются олицетворением царской власти, соединяющей силу льва с разумом человека, и что, как значится в имеющихся на них подписях, тоскующих над Невой сфинксов соорудил фараон Аменхетеп III, «устроитель Египта, бык царей, обуздатель варваров, царь верхнего и нижнего Египта».

— Вот в чем, значит, дело. Бык быка видит издалека, — засмеялся Шевченко, предпочитавший, впрочем, называть Николая I не быком, а дрессированным медведем.

На-днях он застал воткнутую в скважину двери записку:

*«Перевел я, Тарасенька, твои «Слезы», удачно ли — не знаю. Что это тебя не видно? Я был у тебя в тот день, как ты назначил, но не застал.*

*Душевно любящий тебя Курочкин.*

*P. S. Еще стихов, да самых сердечных...»*

«Где же это я был? — старался припомнить Шевченко. — Ах, да!.. Неожиданно засиделся в трактире «Золотой якорь».

Трактир этот находился в двух шагах от Академии, на Шестой линии. Удобно было, близко. Любил сюда заглядывать Шевченко еще потому, что здесь обыкновенно собирались матросы с иностранных кораблей. Многие из них с грехом пополам объяснялись по-русски. Сам Шевченко, когда-то читавший со своим другом студентом Дембским Поль де Кока в подлиннике, кое-как говорил по-французски. Чего нельзя было выразить словами — дополняли мимикой. Словом, поговорить было можно.

Народ все бывалый, видавший виды, попробовавший горя.

— Такие же мужички, как я, грешный, — сразу почувствовал Шевченко, вслушавшись в их разговоры.

И что было любопытно. Начинали обыкновенно матросы, особенно немцы, с того, что бахвалились друг перед другом и перед Шевченко главным образом. То и дело слышалось: «мы, англичане», «нет, уж у нас в Париже», «немцы — самая могущественная в мире нация» и т. д., и т. д.

Шевченко нисколько не оспаривал их, когда они не очень лестно характеризовали Россию и русские порядки. Ему ли было против этого возражать?.. Он не только соглашался, но даже с своей стороны сгущал краски и незаметно переводил в конце концов разговор на то, что богатому везде хорошо, а бедняку везде плохо. Не проходило и получаса, и куда-то исчезали французы, англичане, немцы, шведы, голландцы... За столом сидели люди, говорившие на разных языках, но по сути одно и то же. Оказывается, у всех у них одинаково каторжная жизнь, всех их одинаково эксплоатируют хозяева, со всеми ними одинаково бесчеловечно обращаются служащие у этих хозяев капитаны и т. д., и т. д.

Не забывали при этом помянуть крепким словом главу своего государства.

Наполеону III, в это время особенно обращавшему на себя внимание своими захватническими планами и авантюрами, доставалось больше всего и ото всех.

Шевченко, вслушиваясь в эти толки, молча высыпал стоявшие перед ним спички на стол. Из общей кучи он отделил одну и положил в сторонку.

— Это зачем же? — удивлялись матросы.

Шевченко лукаво улыбнулся.

— Вот, — пояснил он, — Наполеон III; эта кучка — вы, вы, вы, — показывал он на каждого матроса отдельно,— говоря короче — бедный народ. На кучку никто не обращает внимания, Наполеон — на первом месте. Он — самый главный, он — командир. Так?

— Так, — согласились.

— Я, — продолжал Шевченко, — назвал Наполеона только к примеру. Это может быть любой король или император...

— И царь? — подмигнул, улыбаясь, француз.

— А что же, и царь, — согласился Шевченко.

Быстрым движением руки смешал спички.

— Ну, — обратился он к окружающим, — вы тут поищите на досуге в этой кучке Наполеона, а я уж пойду — мне пора.

Под веселые аплодисменты Шевченко ушел из «Золотого якоря», совершенно забыв, что обещал Курочкину быть в этот день дома.

Все это вспомнилось ему сейчас, и он энергично принялся работать над доской, чтобы поскорее кончить и пойти к Курочкину, к которому собирался сразу же после того, как тот у него был, но никак не мог оторваться от работы.

Вот и сейчас, одетый в белый, запачканный красками полотняный халат, так углубился в свою работу над эскизом картины Мурильо, что и не заметил, как стукнула дверь и из-за ширмы, вот уже пять минут, его кто-то наблюдает.

— Здравствуй, Тарас, — услышал он голос.

Не выпуская карандаша из рук, Шевченко с недоумением разглядывал вошедшего.

— Не узнаешь? — спросил тот.

— Не узнаю, — отвечал Шевченко.

— Ай-ай-ай... Ну, как же так? Неужели забыл? Припомни-ка, кто говорил, что свидимся и будем жить вместе в Петербурге? Теперь узнал?

— Нет, не узнаю, — сказал Шевченко, недоуменно разводя пальцами.

Пришлось назвать себя.

— Я — Костомаров, — сказал тот.

— Мыкола, — вскрикнул Шевченко, заплакал и бросился обнимать Костомарова.

Прошло одиннадцать лет с тех пор, как они последний раз виделись на очной ставке в каземате III отделения у жандармов. За эти годы Костомаров внешне очень изменился, но сейчас этот новый облик его исчез, и через несколько минут Шевченко уже видел перед собой прежнего молодого Мыколу. Вспомнился каземат, всплыло в памяти все, все... Как живая, встала перед ним мать Костомарова, пришедшая на свидание с сыном.

— Боже мой милый, как тяжело было мне смотреть из-за решетки на твою мать, — припомнил Шевченко и начал читать:

Лучи закатные играли
В весенних тучах золотых;
Гостям, в оковах, чай давали
И часовых кругом меняли,
Синемундирных часовых.
К дверям своим, на ключ закрытым,
К решетке мрачной на окне
Привык немного я, и мне
Не жаль уж было тех изжитых,
Ушедших в вечность, позабытых,
Моих кровавых, горьких слез...
А их так много пролилось

На ниве безотрадной жизни!
Ничто на ниве не взросло...
И вспомнил я свое село:
Кого оставил я в отчизне,
Какому сердцу дорог я?..
В гробу отец и мать моя,
Они давно взяты могилой, —
И скорбь мне душу омрачила,
Что некому в родной стране,
Рыдая, вспомнить обо мне...
Вдруг вижу: брат мой, друг мой милый,
К тебе старуха-мать пришла...
Она с креста казалась снятой,
И страшен был в лучах заката
Землистый цвет ее чела...
Тебе хвалу, господь суровый,
Я не устану возносить
За то, что не с кем мне делить
Мою тюрьму, мои оковы!..[1]

— Напиши мне эти стихи на память, — попросил Костомаров.

Шевченко сел за стол и начал писать.

— Так вот ты как живешь, — сказал Костомаров, оглядывая комнату. — Ого, да у тебя тут целая библиотека! Шекспир, Бераньже, Лермонтов, Пушкин... И «Современник»!!. Никак за целый год?

— Да. Это мне за стихи Чернышевский подарил!

— Уж познакомился?

— Замечательный человек...

— Д-да, замечательный, — каким-то странным тоном заметил Костомаров. — Я его по Саратову хорошо знаю.

— Ну, вот, написал, — сказал Шевченко, передавая ему стихи.

— Спасибо, друг, — сказал Костомаров, обнимая Шевченко, — спасибо. Да, было время, лихо его матери! Как вспомнишь о нем теперь на воле...

— Тоже скажет — на воле! — прервал его Шевченко. — Воля, как у собаки на привязи...

— Ну, ну, не бурчи, не гневи бога, старик.

— Чего там — не бурчи. Сейчас Щепкин в Москву зовет, — жандармы не пускают. Не комедия ли? Только что приехал из Москвы, а туда нельзя. Москва, что ли, провалится, если я туда приеду?..

---

[1] Перевод М. Славинского.

— Погоди, еще съездишь, — успокаивал его Костомаров. — А теперь пойдем обедать. Одевайся, пойдем к Палкину.

— Да я уже одет.

— Как? В этом халате и пойдешь?

— Для маляра самая подходящая одежа.

— Ну, и озорной же ты, Тарас. Столица ведь, не среди киргизов живешь!

Так и не уговорил. Пошли кратчайшим путем через плашкоутный мост прямо к Исаакию. Хотели зайти осмотреть собор. по их не пустили — нужны были какие-то особые пропуска

Посреди площади Шевченко остановился перед загородкой, за которой готовили место для памятника Николаю I. Обошел кругом и засмеялся.

Старик, полицейский будочник с алебардой, дремавший у дощатого забора, грозно посмотрел на Шевченко.

— Добрый день, старина, — обратился к нему Шевченко. — Нельзя ли взглянуть на памятничек?

— Проходи, проходи, — крикнул на него будочник. — Нечего тут...

Костомаров торопливо взял Шевченко под-руку, и по Мойке пошли дальше.

— В будущем году, значит, — ворчал Шевченко, — площадь украсится сфинксом, воздвигаемым нашим фараоном своему папаше. Впрочем, какой он сфинкс?!. Медный кавалергард с медным лбом.

Костомаров, стараясь не замечать злого тона Шевченко, сказал, что ему хотелось бы посмотреть это новое произведение барона Клодта. Шевченко обещал в любой день провести его в мастерскую скульптора. Там он увидит и самый памятник и приготовленные для него барельефы, изображающие главнейшие события этого царствования. Художник Рамазанов долго думал, какие подвиги царя изобразить на этом памятнике. И выдумал! На одном показал, как царь усмиряет холерный бунт на Сенной площади, а на другом — расстреливает декабристов на площади Сената.

— Как живой, красуется неудобозабываемый тормоз, — описывал Шевченко памятник. — Фельдфебель-царь! Я предлагал Рамазанову сделать надпись:

**Безбожный царь, источник зла,**
**Гонитель правды, царь жестокий.**

Так Рамазанов не согласился. Эх, дали бы мне, уж я бы вылепил этого помазанника! Показал бы его и спереду и сзаду!

— Тише, ради бога, — резко одернул его Костомаров, тревожно оглянувшись кругом. — Мало тебе было каземата и ссылки.

Молча прошли по Невскому, через Аничков мост, украшенный лошадьми того же барона Клодта.

Буфетная компата в ресторане Палкина, где обыкновенно собиралась писательская братия, на этот раз была не занята. Костомаров все-таки просил Шевченко быть поосторожнее, так как за ними обоими, наверно, следят.

— Беда мне с вами, — сказал ему Шевченко.

— С кем это, с вами? — спросил Костомаров.

— С тобой и с Кулишем. Все-то меня учите, все наставляете. Что ни письмо от Кулиша, то поучение.

Шевченко вынул из кармана пачку писем.

— Вот хоть это, — показал он и начал читать письмо, пересыпая его своими замечаниями. — «...Не следует напоминать сыну об отце, когда ждешь от сына какого ни на есть добра. Он ведь у нас теперь первый человек: если бы не он, то и дыхнуть нам не дали б («а то дают»). И воля крепостным — тоже его дело («увидим»). Самые близкие теперь к нему люди по духу — мы, писатели, а не пузатые сановники («куда им до нас»). Он любит нас, он нам верит»... Ха, ха, ха...

— Правду говорит Кулиш, — несколько раз повторил Костомаров, — истинную правду. И смеяться тут нечего.

— Где уж тут смеяться, — сразу стал серьезным Шевченко.

На-днях Чернышевский сообщил ему, что царь запретил употреблять в печати даже слово «прогресс». Собираются учредить в помощь существующей предварительной цензуре еще одну — наблюдательно-последовательную. Цензура сейчас душит больше, чем до сих пор. Он, Шевченко, испытывает это на себе. Ему не разрешают перепечатать новым изданием его «Кобзарь», разрешенный еще николаевскими цензорами. Прямо хоть ложись да умирай. Издатели ведь платят деньги только после получения разрешения из цензуры. Сейчас он так обезденежел, что на-днях не мог даже взять билет на «Гугеноты».

— Нет уж, голубчику, — закончил свою речь Шевченко. — Рановато вы с Кулишем радоваться начали. Памятник, который Александр II воздвигает там, на площади, своему родителю, тоже наводит на размышление. Не выдумать лучшей, более наглядной, иллюстрации к болтовне либералов об эманципации не только крестьян, но и всех прочих.

— Говори яснее, — не без раздражения сказал Костомаров. — Не понимаю твоих аллегорий.

— Чего тут не понимать! Видел на Аничкином мосту дикого коня, которого укрощает и не может укротить наездник? Ну, а там, на Мариинской площади, на этом самом коне сидит уже верхом царь. Ой, не выйдет дело, ваше величество,— почти крикнул Шевченко и продекламировал:

Когда же, суетный, проклятый,
Он передохнет, этот род?
Когда дождемся Вашингтона
И справедливого закона?
Но мы дождемся, — он придет.

— Скажешь «гоп», как перескочишь, — сердито заметил Костомаров, оглядываясь пугливо кругом.

— Скажу и раньше, — не унимался Шевченко.

К радости Костомарова, в буфетную вошли новые посетители, и спор на эту опасную тему сам собою прекратился.

Друзья расплатились, мирно расстались, и Шевченко обещал Костомарову, что зайдет к нему завтра же вечером в Балабинскую гостиницу, где он временно, до приискания квартиры, поселился.

## 8

Балабинская гостиница, или, как ее называли, «Балалаевка», находилась в самом центре города на Садовой улице, стена в стену с Публичной библиотекой. Это было излюбленное место, где собирались, а часто даже и селились литераторы того времени. Кого только не бывало здесь! Писемский, Мельников-Печерский, Курочкин — да положительно все. Молодой, только еще начинавший свою артистическую карьеру, известный впоследствии артист Иван Федорович Горбунов приносил сюда на суд друзей свои новые рассказы. «Мальчик умный и с огромным дарованием, но только ужасно привык веселиться», брюзжал Писемский, хотя все же с удовольствием слушал его рассказы, всегда оживлявшие собрания в «Балалаевке». Сюда же, как на своего рода литературную биржу, приходил издатель Кожанчиков закупать у писателей их произведения. Здесь, между прочим, он заключил и договор с Шевченко на новое издание «Кобзаря».

Костомаров, работавший в это время над книгой о Степане Разине, иногда ворчал на то, что его отрывают от работы, но все же любил шумную «Балалаевку». Для огра-

жденпя себя от гостей, о которых говорится, что «незваный гость хуже татарпна», он вывесил на дверях своего «номера» предупреждение на церковно-славянском языке, которым в совершенстве владел:

*«Елицы от юнейшия братии честные науки вещательницы сущие во граде сем восхощут некоего ради орудия придти в дом мой, да благоволят посетити меня в дни... и ... часы».*

Были точно указаны дни и часы, когда его можно было посещать, чтобы не мешать его работе.

Сегодня как раз был такой приемный день. В его «номере» сидели только что приехавший из Саратова Мордовцев, Шевченко, Курочкин и Горбунов, всегда интересовавшийся русской историей. Костомаров читал им отрывок своего исследования о Степане Разине.

На самом интересном месте вдруг, из-за стены находившегося рядом ресторана, послышался орган, громко и фальшиво начавший играть прощальную арию Виолетты из «Травиаты».

— Этот орган меня сведет с ума, — рассердился Костомаров. — Ненавижу эту арию. Почему-то чаще всего любят ее ставить, а кое-кто еще иногда и подпевает:

Прощайте вы, мои соленья,
Вы, мои варенья,
Вы, мои горшки.

Переменил бы комнату, да, на мое несчастье, ни одной свободной. Читать невозможно, — придется уж обождать, когда кончится эта музыка.

Очень кстати Хома, находившийся с малых лет в услужении у Костомарова, внес кипящий самовар, а затем поставил на стол бутылку рома. Все налили себе по стакану чаю, сдобрили его ромом.

— Оно точно, под такую музыку слушать историю про Стеньку Разина трудно. Не хотите ли, я вам расскажу историю полегче, — предложил Горбунов.

Все заинтересовались.

Горбунов встал, прошелся по комнате, сразу точно преобразился в монаха и начал елейным тоном.

— Поведаю я вам, братие, историю предивную, историю про то, как обитель наша бедная, беднее чего быть невозможно, процвела и украсилась. Во время оно случилось иноку обители нашей Амфилохию по нужде своей в лес выйти.

По мале времени вернулся инок в келию свою, да пояс-то, крестами украшенный, как повесил на кустике, так и забыл взять. Пошла вскоре некая благочестивая жена за грибами. Увидела поясок висит — лизнула. За ней другая — приложилась, лизнула. Они все лижут. Потом третья, засим еще и еще. Приметила это братия монастырская, перенесли поясок в обитель — в храме повесили. Из соседних сел народ стал притекать. Слух пошел, что поясок-то чудотворный, от болезней всяких помогает. Болящую губернаторскую дочку привезли, опоясали, — поправилась. Народ повалил еще пуще. Молебствия служим, поясок на болящих возлагаем. Жертвуют православные от щедрот своих. Храм новый соорудили... Только это вдруг из Петербурга, из святейшего Синода телеграмма: «Поясок-то уберите, кабы чего не вышло». Поясок-то убрали, а обитель, конечно, украсилась.

Дружный хохот покрыл последние слова рассказчика. Шевченко бросился его обнимать. Взял бутылку с ромом, посмотрел ее на свет и позвал Хому.

— Хомо, — сказал он ему, — а посмотри, козаче, уже бутылочка пустая, матери ее сто копанок. Все высосали!

Хома принес новую бутылку, и все поздравили Горбунова с удачным рассказом.

В это время отворилась дверь, и вошел Чернышевский.

— Нет бога, кроме бога, и Николай пророк его, — громко сказал он.

Таким шутливым обращением он всегда приветствовал Костомарова, с которым сошелся, будучи в Саратове. Тот, с своей стороны, в таком же шутливом тоне отвечал:

— Ну, здравствуй, волк в овечьей шкуре.

— Хорошо, что волк, — заметил Шевченко. — А то бывает шкура человечья, а душа овечья.

Чернышевский лукаво на него взглянул и улыбнулся.

— Бывает, бывает, — сказал он. — Ох, чего только не бывает на свете! Вот хоть бы и сейчас. Еду я сюда мимо Думы по Невскому проспекту, посмотрел на небо и диву дался: новая звезда горит, да такой величины и блеска, что, пожалуй, и самому Сириусу нос утрет! Подъезжаю сюда, вижу — звезда эта стоит прямо над самой «Балалаевкой». Что за звезда такая? Надо бы астрономов запросить.

— Нечего и запрашивать, — засмеялся Костомаров. — Я и без астрономов знаю. Над Тарасовой головой новая звезда стоит. Сейчас в Петербурге только и разговор, что о нем: не знают, куда посадить, чем угодить.

— Совсем как когда-то в Вифлееме, — засмеялся Чернышевский. — А вы тут, вижу, чайком с ромом балуетесь. Налейте-ка мне, да и давайте послушаем, что обещал нам прочесть хозяин о Степане Разине.

— Да я уже прочитал, — отвечал Костомаров.

Шевченко, однако, запротестовал. Чтение совершенно не кончено. Костомаров не сообщил самого главного, не дал окончательной характеристики этого богатыря.

— Если хотите, — согласился Костомаров, — я прочту.

— Внемем! Костомарова чтение, — на церковный лад затянул Шевченко.

Костомаров взял тетрадку, поднес ближе к лампе и начал читать.

— «...Своенравный был человек Стенька, столько же непостоянный в своих движениях, сколько упорный, то мрачный, то суровый. В его речах было что-то обаятельное. Дикое мужество отражалось в грубых чертах его лица, и толпа чувствовала в нем присутствие сверхъестественной силы, против которой невозможно устоять. Он был ненавистник всего, что стояло выше его. Закон, общество, церковь — все, что связывает личные побуждения человека, все попирала его неустрашимая сила. Таков был этот борец вольницы, в полной мере изверг рода человеческого...»

— Степан Разин — изверг рода человеческого?! — запротестовал Шевченко и так стукнул по столу кулаком, что стаканы зазвенели. — Брехня.

Костомаров пробовал его успокоить.

— Нет, не брехня. Ты, Тарас, чепуху несешь, — говорил он. — То, что я говорю, все подтверждается историческими источниками.

— Что мне за дело до твоих источников, — прервал его бегавший по комнате Шевченко.—Вранье все это!

— Я тебе покажу документы, — настаивал Костомаров.

— У меня тоже документы не хуже твоих, — продолжал волноваться Шевченко и начал приводить пример за примером бесчеловечного обращения помещиков с своими крепостными, один ужаснее другого. — Вот где настоящие изверги рода человеческого, — закончил он чуть не со слезами, — а не Степан Разин, который вступился за несчастную голытьбу.

— Браво, Тарас Григорьевич, — зааплодировал Чернышевский.

Возмущенный таким вмешательством в спор Чернышевского, который располагал большей эрудицией, чем Шевченко,

в этом вопросе, Костомаров начал длинно и серьезно доказывать, что времена кулачного права прошли уже давно и что сейчас такие речи тем более неуместны.

— Мы, — горячился Костомаров, — накануне великих реформ, которые собирается даровать народу император Александр II.

— Собирается, — иронически подчеркнул Шевченко.

— Терпи, казак, атаманом будешь, — возразил ему Костомаров.

— Да неужели ты веришь в эти обещания? — задал вопрос Чернышевский.

— Да кто же имеет право в этом сомневаться? Разве государь император неясно выразил свою волю дать свободу крестьянам? Разве не приступили уже к работе разного рода комитеты и редакционные комиссии? . .

— С реакционером Ростовцевым во главе, — дополнил Чернышевский.

— При чем тут Ростовцев, если сам государь пришел к выводу, что лучше дать реформы «сверху», чем ждать, когда их начнут проводить «снизу».

Просто, точно и ясно Чернышевский напомнил, возражая Костомарову, как и почему, испуганный крестьянским восстанием, царь, скрепя сердце, заговорил о своем «желании» дать реформы сверху.

— Наивный ты человек, — говорил он, — а еще историк! Ты совершенно не учитываешь, в каком окружении жил до сих пор и продолжает жить твой великий реформатор. Ведь это. . . кабак. Нельзя не пропитаться пьяным запахом тому, кто живет в кабаке. Нельзя не проникнуться мелочью воли тому, кто живет в обществе, не имеющем никаких стремлений, кроме мелких, эгоистических расчетов.

— Это ты про кого же? — спросил Костомаров.

— Да все про того же. Неужели ты не чувствуешь, что он со свойственной ему и его окружению трусливой хитростью изобретает только вместо старого ярма новый хомут. . . Не снят разные там митрополиты Филареты, Ростовцевы и другие прочие. Думаешь, крестьяне этого не видят?

С горевшими глазами слушавший Чернышевского Шевченко выступил на середину комнаты и, глядя в упор Костомарову, почти прокричал:

Не ожидай желанной воли:
Ее заспал царь Николай;

Уснула и не встанет боле
Она сама. Чтоб разбудить
Ее, больную, надо миру
Собраться, обух закалить
И наточить острей сокиру...

Дальше спорить было невозможно.

— Так, — возмущался Костомаров, — до сокиры договорились!

Взволнованно следившие за этим спором Мордовцев, Курочкин и Горбунов подошли к Шевченко и Чернышевскому и крепко пожали им руки.

Костомаров, успевший заглянуть за дверь, не подслушивает ли кто-нибудь, почувствовал себя одиноким.

— Прощайте, Николай Гаврилович, — мрачно сказал он. — Вижу, что дороги наши разные.

Шевченко подошел к Чернышевскому.

— Идем, Николай Гаврилович, — сказал он нарочито громко. — Нам с вами по дороге.

Чернышевский ушел домой, а Шевченко с Горбуновым остались в «Балалаевке» ужинать.

— Не понимаю я Костомарова, — начал было Горбунов.

— Чего там не понимать, — оборвал его Шевченко. — Привыкла собака за возом бегать, бежит и за санями.

Спор, видимо, сильно взволновал Шевченко. Как ни старался рассеять его Горбунов, он долго не мог успокоиться. Подробно описал сцену, которую он видел на обратном пути из ссылки во время своей вынужденной остановки в Нижнем-Новгороде. Толпа крестьян пришла искать управы на своего помещика.

— В ноябрьский холодный день стояли эти несчастные с непокрытыми головами перед домом губернатора. Им бы просто повесить своего грабителя, а они пошли жаловаться. Тоже надеялись! Ну, и дождались — губернатор приказал их высечь. Возмутительно! Но что удивляться темным крестьянам? Разве Костомаров и все эти болтуны-либералы, с их надеждами на царскую милость, лучше? Хуже!.. Хуже потому, что спокойненько сидят и смотрят, а на их глазах людей мучат. О, если бы им залили за шкуру сала, как мне, да если бы у них были братья и сестры крепостные, как у меня, по-другому бы заговорили. Нет, не выживу я в этом проклятом Петербурге. Он меня задушит, — закончил свою речь Шевченко.

Неожиданно в его глазах загорелись веселые огоньки.

— А Костомарову мы сейчас отомстим. Эй, козаче, — позвал он слугу и приказал поставить в органе вал с арией Виолетты из «Травиаты», а оркестру играть «боже, царя храни».

Через десять минут этого концерта дверь в ресторан отворилась, и сверкнули полные злобы глаза Костомарова. Увидев Шевченко с Горбуновым, он сердито хлопнул дверью и скрылся.

— Не понравилось, — засмеялся Шевченко. — Ничего, пусть побегает да подумает.

9

Когда Костомаров рассказал об этом споре с Шевченко своему другу, украинцу Кулишу, тот нисколько не удивился.

— Этого можно было ожидать. — сказал он Костомарову. — Я уже давно и не раз предупреждал Шевченко, чтобы он не очень поддавался москалям, которые начинают за ним ухаживать. Так ведь разве он слушает, что ему говорят его настоящие друзья! Заладил одно: «у вас, говорит, овечья натура». Мы уже давно с ним перестали говорить на «ты».

Печатая уже после смерти Шевченко свою поэму «Наталка», он не удержался, чтобы в эпилоге к ней не послать «Брату Тарасу на тот свет» проникнутых горькой укоризной стихов:

Розійшлись ми різно
Дітьми молодими,
Зустрілися пізно
Між людьми чужими.
Вкупі працювати
Брат із братом брався;
Що одна в нас мати,
Ти не догадався.
Братався з чужими,
Радився з чужими,
Гордував словами
Щирими моіми.

«Чужими», с которыми Шевченко «братался» и «советовался», Кулиш с нескрываемым огорчением называл не кого иного, как Чернышевского и его alter ego Добролюбова.

## СОДЕРЖАНИЕ

М. Зощенко
Тарас Шевченко . . . . . 3
Павел Евстафьев
Орская крепость (Повесть) . . . . . 49
Тарас (Этюд) . . . . . 79
Вл. Боцяновский
Петербургские встречи . . . . . 92

Ответств. редактор Н. Тихонов. Технич. редактор А. Кирнарская. Корректор Р. Бекетова. Художник М. Кариарский. Ленгорлит № 1481 С. П. — 3/Л. Подписано к печати 10/III 1939 г. Сдано в набор 11/II 1939 г. Тираж 10000. Форм. бумаги 82×108/32. Бум. л. 21/16. Колич. знаков в 1 б. л. 158000. Печ. л. 8 1/4. А. л. 7,2. У.-а. л. 8. Отпечатано в 4 тип. ГОНТИ «Красный Печатник». Ленинград, Международный проспект, № 75а. Заказ № 1192.
2 р. 25 к. Переплет 1 р. 50 к.

8-75

Бр.75к.
8-75